

ПУШКИНСКАЯ



БИБЛИОТЕКА

ПАМЯТИ ПУШКИНА



Пушкинская библиотека

Петр Владимиров
Памяти Пушкина

«ВЕЧЕ»

Владимиров П. В.

Памяти Пушкина / П. В. Владимиров — «ВЕЧЕ»,
— (Пушкинская библиотека)

ISBN 978-5-4484-8117-8

В книге представлены четыре статьи-доклада, подготовленные к столетию со дня рождения А.С. Пушкина в 1899 г. крупными филологами и литературоведами, преподавателями Киевского императорского университета Св. Владимира, профессорами Петром Владимировичем Владимировым (1854–1902), Николаем Павловичем Дашкевичем (1852–1908), приват-доцентом Андреем Митрофановичем Лободой (1871–1931). В статьях на обширном материале, прослеживается влияние русской и западноевропейской литератур, отразившееся в поэзии великого поэта. Также рассматривается всеобъемлющее влияние пушкинской поэзии на творчество русских поэтов и писателей второй половины XIX века и отношение к ней русской критики с 30-х годов до конца XIX века.

ISBN 978-5-4484-8117-8

© Владимиров П. В.
© ВЕЧЕ

Содержание

От издательства	5
А.С. Пушкин и его предшественники в русской литературе	6
Пушкин в ряду великих поэтов нового времени[9]	66
Конец ознакомительного фрагмента.	80



Петр Владимиров, Николай Дашкевич, Андрей Лобода Памяти Пушкина

От издательства

Год 1899-й в России был особенным – юбилейным – годом. Тогда отмечали 100-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Почти вся читающая и пишущая Россия откликнулась на торжества 25–26 мая, особенно пышно проходившие в Святых Горах (Пушкиногорье). Не остался в стороне и Киевский императорский университет Святого Владимира. По инициативе его историко-филологического факультета была намечена и исполнена программа чествования, важными пунктами которой были доклады профессоров и доцентов университета о жизни и творчестве великого поэта.

В нашей книге публикуются три из восьми докладов, изданных в ежемесячном журнале «Университетские известия» в 1899 году в № 5, специально подготовленном к пушкинскому празднику. Авторы их – крупные филологи и литературоведы, каждый из которых вполне мог стать гордостью любого из российских университетов. Это профессора Петр Владимирович Владимиров (1854–1902), Николай Павлович Дашкевич (1852–1908), приват-доцент Андрей Митрофанович Лобода (1871–1931).

А.С. Пушкин и его предшественники в русской литературе П.В. Владимиров

Деятельность великих людей, как бы ни выдавалась она, приобретает еще большее значение при сравнении с предшественниками. Все, что накапливается деятельностью предшественников, что с трудом и по частям, с колебаниями совершается ими, – все это осуществляется, получает окончательное всеобъемлющее выражение в деятельности великих людей. И нигде это сравнение не поучительно в такой мере, как в области литературы, преобразования ее формы, ее важнейшего выражения – языка, возведения его на степень высшего совершенства, создания прочной формы для выражения поэтических восприятий и глубоких мыслей.

Постепенная подготовка этой формы целым рядом более или менее талантливых деятелей, успевающих вложить свою особенность в общее дело, связь этой формы с национальными стремлениями, начатки народной литературы, народной истории, получившие окончательное развитие в деятельности великого человека, точнее определяют место такого деятеля в истории одной какой-либо литературы.

А.С. Пушкин создал лучшую форму для русской литературы: он настоящий преобразователь русского литературного языка, настоящий поэт, какой когда-либо являлся в русской словесности. Жизнь и деятельность такого великого народного писателя заслуживает глубокого изучения, и столетний юбилей (26 мая 1799 г. – 1899 г.) вызовет не одно живое, новое определение нашего славного русского поэта в его разнообразных отношениях (например, в отношении к литературным его предшественникам, к народному творчеству, к народному быту и народной истории) и в самой сущности его творчества. Пожелаем, чтобы эта любовь к поэту не остывала, чтобы она служила залогом нашего единения в области тех чувств и мыслей, выразителем которых являлся в 20-х и в 30-х годах настоящего истекающего столетия Александр Сергеевич Пушкин.

Он родился в Москве 26 мая 1799 года, получил образование в Петербурге (1811–1817) и в течение своей недолгой деятельности († 29 января 1837 г.) в тряской телеге жизни посетил все живописные места России, все края ее, порываясь за границу, куда влекли его симпатии воспитания, начитанности и понимания литературных направлений. Неудовлетворенный с этой стороны, поэт отдался Родине, ее истории, ее современности. История русской жизни, история русской литературы сделались постоянными предметами его глубоких размышлений. Мы коснемся в предлагаемом очерке только истории русской литературы, которая с Пушкина получает свое настоящее глубокое значение.



Н.М. Карамзин

Новый XIX век, прославленный трудами новорожденного гения, полурусского-полуво-сточного происхождения, напоминающего типы Жуковского, Карамзина, Державина, собрал вокруг его колыбели (Хариты, Лель тебя венчали и колыбель твою качали) такие литературные таланты, как Державина, Хераскова, Богдановича, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Кры-лова. Едва раскрылось сознание будущего поэта, как его окружила уже литературная среда, в которой вращался дядя Александра Сергеевича, поэт Василий Львович Пушкин, поклонник французской литературы. Русская литература, в лице родственника-писателя, его близких дру-зей-писателей, появлявшихся в гостеприимном доме Пушкиных в Москве, несмотря на безза-ботную жизнь родителей поэта, глубоко заинтересовала молодого воспитанника иностранных гувернеров и гувернанток. Основы образования Александра Сергеевича, по вкусам того вре-мени, были блестящи, так как он с детства познакомился с теми оригинальными французскими сочинениями, которым подражали его предшественники – русские поэты XVIII века.



И.А. Крылов

Мы не знаем до вступления Пушкина в Лицей об опытах в русской словесности будущего поэта, о его начитанности в русской литературе. По-видимому, русская словесность была на заднем плане в домашнем образовании его. И молодой Пушкин, как и многие из его современников, учился русскому языку не из преподавательских тетрадей, а от нянек-мамушек, от дворни да от старых словоохотливых родственников и родственников. Такова была любимая няня поэта, его мамушка Арина Родионовна, убаюкивавшая ребенка народными песнями, успокаивавшая его таинственными народными сказками. В лице этой умной и усердной няни поэт приучился любить народ в его привычках и думах. Поездки в деревни и свидания со старыми родственниками, особенно с бабушкой Ганнибал, дочерью тамбовского воеводы Пушкина, пережившей много невзгод и личных, и общих для дворянства того времени, оставили в Александре Сергеевиче глубокие впечатления по рассказам о его предках Ганнибалах, любимцах Петра Великого и его преемников, о Пушкиных-боярах XVI–XVII веков, о времени и личности императрицы Екатерины II. Все эти отношения сблизили лицеиста Пушкина с русской действительностью и с русской литературой в ее национальных стремлениях.

Без сомнения, Царскосельский Лицей, в котором Пушкин пробыл с 1811 по 1817 год, положил хорошие основания для литературного образования нашего поэта, не только школьными и научными занятиями, но и общими развитыми вкусами всех воспитанников Лицея в области русской литературы. В 1815 году один из сотоварищей Пушкина пишет своему другу: «Чтение питает душу, образует, развивает способности; по сей причине мы стараемся иметь все журналы и впрямь получаем: «Пантеон», «Вестник Европы», «Русский вестник» и пр. Так, мой друг, и мы также хотим наслаждаться светлым днем нашей литературы, удивляться цветущим нашим гениям Жуковского, Батюшкова, Крылова, Гнедича. Но не худо иногда подымать завесу протекаемых времен, заглядывать в книги отцов отечественной поэзии, Ломоно-

сова, Хераскова, Державина, Дмитриева: там лежат сокровища, из коих каждому почерпать должно» (Грот: Пушкин, 1887 г., 82 стр.).



В.А. Жуковский

Лицейисты, однако, мечтали о столице и рядом с приведенным письмом Илличевского к петербургскому товарищу можно отметить такие же выдержки из первых лицейских опытов А.С. Пушкина: «Хорошие стихи не так легко писать... Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов, Певцы бессмертные, и честь, и слава россов, Питают здравый ум и вместе учат нас» («К другу стихотворцу» 1814 г.)¹. Пушкин уже делает характеристики русских поэтов, называя в послании «Городок» 1815 г.: нежного Дмитриева с Крыловым, творцом Чернавки, Подщицы, плененных царей, смелого насмешника (Батюшкова) над творениями Рифматовых, книги которых гибнут, «едва на свет родясь», и выше которых молодой поэт ставит «Удалого наездника Свистова» (Баркова), замысловатого певца Буянова (дядю В.Л. Пушкина), не говоря уже о Державине с чувствительным Горацием, Озерове с Расином, Фонвизине и Княжнине с Мольером-исполином, Богдановиче с добрым Лафонтеном, Карамзине с Руссо и др. Эта способность отдавать себе отчет в истории судеб русской словесности, этот критический дар с годами укреплялся в Пушкине и достиг замечательной верности суждения – строгой и правдивой – в оценке настоящих достоинств русской словесности, лучшие явления которой он превзошел силой своего таланта, а слабые – поднял на недостижимую высоту. Ко времени выпуска из Лицея в 1817 году Пушкин уже овладел почти всей предшествующей русской литературой и представил опыты богатой лирики – игривой и элегической, – бойких эпиграмм и даже

¹ Все ссылки на сочинения А.С. Пушкина сделаны нами по известному полному изданию «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»: «Сочинения А. С. Пушкина», 6 томов, 1887 г.

поэм, которым отдался с увлечением по выходе из Лицея. Лицейские стихотворения Пушкина, дошедшие до нас, представляют собой подражания не только поэтам новой школы, Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, но и прежним певцам российского Парнаса, Державину, Дмитриеву, Хераскову, Богдановичу и др. Следуя последним, Пушкин порывается овладеть эпическими формами полушуточных-полуисторических поэм, вроде «Бовы», «Руслана и Людмилы», пользуясь русскими сказками и древнейшей русской историей, в которой лицеист Пушкин наиболее успевал, как и в словесности. Он уже соединил в своем звучном, легком стихе черты поэзии Державина с новыми направлениями, чем и отличился на публичном акте Лицея в 1815 году, в присутствии маститого 72-летнего старца Державина, ожившего при звуках пушкинских «Воспоминаний в Царском Селе». Старый поэт, певец Фелицы, уже на краю своей могилы бросился обнимать будущего славного юношу за его оду, в которой чуялись свежие, новые силы. Эту трогательную сцену в исторических воспоминаниях русской литературы Пушкин изобразил в послании «К Жуковскому» 1817 года и в восьмой песне «Евгения Онегина»:

И бледной зависти предмет неколебимый (Карамзин)
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил,
И славный старец наш, царей певец избранный (Державин),
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной (I, 163).

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил (III, 382).



Г.Р. Державин

Здесь уместно окинуть хотя беглым взглядом историю русской поэзии, не имевшей правильного развития в века, предшествующие XVIII, чтобы понять связь и последующих высоких произведений «заветной лиры» А.С. Пушкина с историей русской поэзии, русской литературы, о которой наш народный поэт всегда любил думать, равно останавливаясь на Ломоносове и «Слове о полку Игореве», на Карамзине и летописях, на балладах Жуковского и на народных песнях, сказках и преданиях. Замечу здесь, что моей задачей будет не биография А.С. Пушкина, которую мы найдем скоро во всех подробностях его многочисленных и живых отношений ко времени, ни его проникновения в западноевропейскую жизнь и литературу, которые изложат и оценят знатоки европейской поэзии, а только внутреннее отношение поэзии Пушкина к предшествующей русской поэзии.

I

Русская поэзия как непрерывное литературное явление считает за собою не более двух-трех веков развития из исполнившейся уже тысячелетней истории славяно-русской литературы. Старая русская письменность и книжность только в XVI–XVII веках дала образцы определенного стихосложения в двух резко расхоdivшихся направлениях: в старом песенном направлении, образцом которого было и «Слово о полку Игореве» – единственный цельный памятник в этом отношении – и отражение его в «Задонщине», в складной речи летописных

повествований по народной памяти, в простонародных словах поучений, повестей, в замечательном «Горе-Злосчасти» – единственном памятнике рассматриваемого первого направления XVII века, и рядом в другом направлении XVII – начала XVIII века, подражательном, закованном в школьный силлабический стих Симеона Полоцкого и его южнорусских и западнорусских предшественников не старше начала XVI века (первый опыт, едва ли не Скорины 1517–1519 годов). Симеон Полоцкий своей рифмотворной Псалтырью оказал большое влияние: Кантемир такими же силлабическими стихами пишет свои талантливые сатиры, столь же уродливые по форме, как новые стихи Тредиаковского, впервые уразумевшего значение тонического народного стихосложения. Пушкин не раз брал под свою защиту несчастную фигуру «камердинера профессора Тредьяковского» (VII, 287), с его неуклюжими, собственного изобретения стихами, с его положением в качестве придворного светского поэта в эпоху временщиков. «Вы оскорбляете человека, – пишет Пушкин в 1835 г., – достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей» (VII, 389); «изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков и Херасков верно не стоят Тредьяковского... Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают необыкновенное чувство изящного. В «Телемахиде» находится много хороших стихов и счастливых оборотов, вроде: «Корабль Одиссеев Богом волны деля, Из очей ушел и сокрылся» (V, 225).



А.П. Сумароков

Пушкин не раз задумывался о начале русской словесности, указывая, что «Тредьяковский один понимающий свое дело» (V, 252). «Влияние Тредьяковского уничтожается его без-

дарностью, влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым». Он чувствует, что если русская словесность и рождается только при Елизавете в лице «великого человека» Ломоносова, бессмертного певца (I, 165), однако не вдохновенного поэта, наложившего своей теорией о слоге тяжелые узы на русскую словесность (V, 221–222), блиставшего более духовными одами, чем «должностными на высокаторжественные дни», тем не менее народная поэзия и старинные памятники – «эти сказки, песни, пословицы, произведения лукавой насмешливости скоморохов и Летописи, Послания царские, «Песнь о полку», «Побоище Мамаево», затеи нашей старой комедии – достойны любопытства и благоговения». Пушкин не раз дает доказательства в своих замечаниях о старых русских памятниках глубокого понимания старинного русского языка, настоящей поэзии в устной народной словесности. Подражательность иноземной словесности, например в лице Сумарокова, Пушкин осуждает в сильных порицаниях: «Ты-ль это, слабое дитя чужих уроков, Завистливый гордец, холодный Сумароков!» (I, 164). В статье «О драме» (1830) Пушкин ставит Озерова с его попыткой дать трагедию народную выше Сумарокова: «Сумароков несчастнейший из подражателей. Трагедии его, исполненные противосмыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елисаветы, как новость, как подражания парижским увеселениям. Сии вялые, холодные произведения не могли иметь никакого влияния на народное пристрастие». В библиотеке светской дамы до появления «Истории» Карамзина не было ни одной русской книги, говорит Пушкин в «Рославлеве», кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала (IV, 111). Но песенки, притчи и даже трагедии Сумарокова, в которых женщина впервые заговорила о себе, знали русские дворяне конца XVIII века, и выдержки из них вносились в песенники и в другие литературные сборники XVIII века. В «Трудолюбивой пчеле» Сумарокова, первом общественном журнале 1759 года, впервые явились и стихи русских поэтесс.



В.К. Тредиаковский

Отзывы Пушкина о Державине разнообразны, но существенные мнения выражены в письмах 1825 года: «Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый... Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова) – он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что же в нем? – мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем (не говоря уже о его министерстве); у Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова» (VII, 133). Этот отзыв не преувеличен, если вникнуть в значение русской оды, которая началась Ломоносовым и кончилась Пушкиным. История русской оды – это выдающаяся страница истории русской поэзии и даже русской истории, или русского самосознания. Ода являлась передовой мыслью русского общества, уясняла события времени, предшествовала «Исто-

рии» Карамзина. Под пером Пушкина она уже явилась лучшим выражением международной политики.

На первых порах ода выпала благодарная роль в русской поэзии XVIII в. Естественно ожидать несовершенства оды и первые робкие шаги в звучных стихах Ломоносова, который создавал литературный язык и стих, боролся с народной стихией и соразмерял русский литературный церковнославянский стиль. Религиозное настроение, научные взгляды на природу, восторг перед Великим Преобразователем придают искренность и какую-то теплоту искусственным стихам Ломоносова, с его подражательной манерой смотреть на все глазами классического мира, его мифологии и героев. Поэты школы Ломоносова явились в обилие; но не имели сил возвыситься до научного восторга, не имели почвы полународной-полуцерковной, на которой вырос с детства их великий учитель, предписавший удерживать тривиальность речи высокой церковнославянской и искусственной периодической речью. Но Державин вдохнул жизнь в оду, соединив ее со своими неподдельными анакреонтическими любовными песнями и сатирическими очерками, во вкусе Кантемира. Песни застольные, любовные послания создали простой естественный язык, уже возделанный Сумароковым и другими песнописцами и баснописцами, особенно Хемницером. Державин довел эту форму естественной поэзии до возможного в XVIII веке совершенства. Ломоносовскую форму оды он сблизил с русской народной поэзией, насколько понимали ее друзья Державина – Хемницер, Капнист, Львов – и издатели народных песенников, Новиков, Чулков, Попов и др. В этом же направлении развивались и отношения Державина к современной жизни, которую поэт охватывал новым свободным оком, сливая с обширным кругом русского образованного общества и давая русской литературе известный тон. Кроме ломоносовских мотивов в поэзии Державина прибавляются глубокие размышления о жизни и смерти, о счастье, покое и о должностях гражданина с указанием противоположных явлений: суеты, неправды, легкомыслия и пороков. Стихи Державина достигли такого совершенства, что их клали на музыку и распевали, как романсы. С лучших од своих Державин достиг сжатости слога, приятной для восприятия читателя, подбором кратких определений. После господства ритма и периодичности речи, в пользу которой допускались и ломаные формы, и неправильное растянутое расположение слов, легкие и сильные стихи Державина были большим успехом в развитии русской поэзии. Его влияние на последующих двигателей в этой области, Жуковского и Пушкина, несомненно. Стоит для образца прочесть оду 1797 года «Бесмертие души», чтобы видеть особенности слога Державина: «Умолкни, чернь непросвещенна (поэтический образ, повторяющийся у Пушкина)... /Дух тонкий, мудрый, сильный, суший, / В единый миг и там, и здесь, /Быстрее молнии текущий /Всегда, везде и вкупе весь. /Неосязаемый, незримый, /В желаньи, в памяти, в уме... /Дух, чувствовать внимать способный, /Все знать, судить и заключать; /Как легкий прах, так мир огромный». Даже аллегорические фигуры в поэзии Державина, вроде Борея: «С белыми Борей власами и с седою бородой, /Потрясая небесами, облака сжимал рукой» или алчной бледной смерти с колоколом-стоном, с когтями Асмодея у Жуковского, гармонируют с излюбленными формами скульптуры и архитектуры екатерининского времени. Стихийное начало, военные громы, гиперболические образы природных явлений в безграничных сферах мирового пространства, которые Ломоносов обнимал умом ученого естествоиспытателя XVIII века школы Лейбница и Вольфа, остались особенностями и од Державина – религиозных, философских, од на случаи смерти сподвижников Екатерины II. Так точно и хвалы, расточаемые поэтом Фелицы начинаниям императрицы, ее гуманности, облакаются в образы фантастические и прекрасные, привлекательные и возвышенные. В этих одах устанавливалась нравственная связь подданного с правительством, уравнивающая всех, начиная с вельмож, – с их недостатками пред лицом монархии. Свободный голос поэта пришелся по вкусу времени и навсегда остался удивительным памятником литературной смелости. После Державина и немногих произведений Пушкина ода окончила свое существование как выдающееся в литературе явление. Бесчисленные одописцы были осмеяны Дмитриевым в

«Чужом толке», который подметил и неестественность восторга перед газетными реляциями, и неестественность самого идеала придворного поэта-одописца, друга меценатов.

Такая же судьба выпала на долю басни, остановившейся после успехов Крылова. Пушкин не писал басен: мало признавал значения за Дмитриевым и высоко ставил одного Крылова. Уже в 1822 году Пушкин писал: «Английская словесность (т. е. в лице Байрона и др.) начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. Тогда некоторые люди упадут, и посмотрим, где очутится Ив. Ив. Дмитриев с своими чувствами и мыслями, взятыми из Флориана и Легуве» (VII, 34). В 1825 году Пушкин признавал только Державина и Крылова гениями, талантами (VII, 116). Последнего Пушкин ставил выше Лафонтена (V, 80). Крылов являлся истинно народным поэтом, а народность Пушкин ставил высоко и прежде всего в области литературного языка, в которой отдавал должное и Ломоносову. Басни и развивавшиеся с ними сказки (contes) сослужили в русской литературе важную службу в проведении простонародных сюжетов, типов, выражений, начиная с Сумарокова, Хемницера до искусственной простоты Измайлова и естественного выражения духа нашего народа у Крылова «в веселом лукавстве ума, насмешливости и живописном способе выражаться» (V, 30). Басни Крылова превзошли все предыдущие не только совершенством языка и стиха; но и движением рассказа, его картинностью и сжатостью. Творчество Крылова можно вполне сопоставить с творчеством Пушкина по отношению к поэтам не только XVIII века, но и XIX века. Басни уже в 20-х годах сделались любимыми народными книгами (Евгений Онегин, V гл.).



И. Ф. Богданович

Заслугой Пушкина по отношению к начинаниям XVIII века является поднятие поэмы. И первая поэма его «Руслан и Людмила» тесно связана с предшествующими несовершенными опытами Хераскова, Богдановича, Майкова, Карамзина и Радищева. Херасков заслужил славу русского Гомера поэмами «Россиада», «Владимир», «Бахарияна, или Незвестный» (1803) и др. Поэмы Хераскова проникнуты серьезным нравственным содержанием, но никак не историческим и не народно-бытовым, хотя и по содержанию, и по пособиям связаны с русской историей, со старинной народной поэзией. В третьем издании «Владимира» и в «Бахарияне» Херасков с восторгом относится к «Слову о полку Игореве», признавая и в неизвестном авторе его и в Баяне – певца равного Гомеру, Оссиану и всем остальным творцам европейских поэм, которым подражал Херасков. Это подражание, чисто внешнее хаотическое смешение русских подробностей с заимствованными, иностранными, подражание Ломоносову в построении стиха и в употреблении церковнославянских выражений отнимает всякое достоинство в поэмах Хераскова, местами указывающих на стремление в простоте языка и стиха, на чувство природы. Для изучающих пушкинские поэмы не лишены значения «Владимир» и «Бахарияна», в которых находим имена рыцарей или витязей: жестокого Рогдая, Зарему, старца, помогающего советами герою [в «Бахарияне» (стр. 28), например, старец говорит Незвестному: «Вижу, что в цветущей юности чашу горести ты пил, – мой сын!.. ах! я сам несчастен в жизни был»], отыскивающему похищенную красавицу, поле, покрытое побитою ратью, оживление пораженного, любовь старухи, и пр. Нельзя не заметить вообще, что наши первые романтики пользовались произведениями своих предшественников – ложноклассиков, выбирая из последних, без всякой критики, имена и подробности для характеристики русского быта и истории. Отсюда связь поэм, баллад и сказов Карамзина, Каменева (Громвал, Зломор взяты из «Бахарияны» Хераскова), Жуковского, Пушкина и других с поэмами и сказками Хераскова, Богдановича, Дмитриева и др. Шутливая поэма Богдановича «Душенька» (1788), его пословицы, идилии, эклоги и драмы нравились Пушкину, о чем он с удовольствием вспоминает в III главе «Евгения Онегина»: «Будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановича стихи». Кто не вспомнит чудных стихов Пушкина в следующем месте из «Душеньки» Богдановича (1844 г., стр. 30):

Гонясь за нею волны там,
Толкают в ревности друг друга,
Чтоб, вырвавшись скорей из круга,
Смирненно пасть к ее ногам.

(Ср.: «С любовью лечь в ее ногам». Евгений Онегин, гл. I, XXXIII, т. III, 248).

Кроме легкости стихов, влияние «Душеньки» отразилось на характере Людмилы в поэме Пушкина. Так, в поэме Финна отразилась «Песнь храброго шведского рыцаря Гаральда», в чудном отрывке «Осень» 1830 года некоторый намек на «Эклогу» Богдановича: «Уже осеннее морозы гонят лето, И поле зеленю приятною одето, Теряет прежний вид, теряет все красы» и пр. Разнообразие поэтических размеров, легкость языка отличают вообще произведения Богдановича, что было им достигнуто изучением народного языка и переделкой пословиц. Приведем следующее двустишие, напоминающее стихи Жуковского:

Женился Данила на скорую руку,
На долгое горе, терпенье да муку.

(Сочинения, 1810 г., III, 234).

В драме Богдановича «Славяне» (1787), отличающейся народным языком, находим Руслана, посла от Славянского двора к Александру. Автор стремился, как сам заметил, выставить «старое Новгородское наречие», которым заставляет говорить слуг, служанок, огородни-

ков. Руслан, герой драмы, влюблен в Доброславу, с которой и соединяется после целого ряда препятствий. «Театральные представления на пословицы» Богданович написал тем простым, естественным языком, какой выработали авторы комедии и комических опер XVII века – эти предшественники Грибоедова и Гоголя. Может быть, Пушкин и ценил Богдановича именно за эту простоту языка и назвал Русланом, по Богдановичевой драме «Славяне», своего героя.

Из шутильных поэм XVIII века Пушкин хвалил поэму Майкова «Елисей» за истинно сменные, уморительные сцены – «полезные для здоровья» (VII, 50). В VIII главе Евгения Онегина поэт вспоминает: «В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Елисея, а Цицерона проклинал» (III, 881). Это подражание Скаррону, на границе между непечатными стихами Баркова и игривого изображения Олимпа, замечательно по изображению простонародной жизни в ее весельях и крайностях. Майков хорошо был знаком с народными песнями, с лубочными изданиями, с городским бытом народа. Поэма его осталась единственной в своем роде. В таком же стиле явились шутильные сказки Жуковского и Пушкина.



В.И. Майков

Баснописец Дмитриев, соединявший в своем лице два поколения русских писателей старого и нового направления, написал несколько произведений игривых, которые примыкают к шутильным поэмам XVIII века. Это т. н. сказки: «Волшебные замки», «Причудница», «Модная жена», «Карикатура» и др. В «Причуднице» мы находим следующие стихи, повторенные молодым Пушкиным:

Я жизнь мою во скуку трачу:

Настанет день, тоскую, плачу;
Покроет ночь, опять грущу,
И все чего-то я ищу.

В элегии Пушкина 1816 года «Разлука», переделанной в 1826 году, под названием «Уныние», находим повторение стихов Дмитриева:

Но я уныл и втайне я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною —
Я все тебя, прелестный друг, ищу (I, 141).

Вставочный рассказ Дмитриева в «Причуднице» о драгунском ротмистре Брамербасе, «бывшем столько лет в Малороссийском крае игрищем злых ведьм» (на нем, обращенном в коня, ведьма разгуливала до полуночи), развивается у Пушкина в веселом несравненном рассказе «Гусар», имеющем что-то общее с «Вием» Гоголя. Нельзя не удивляться тому, как умел усовершенствовать свой стих и язык Дмитриев, пройдя длинный путь развития от тяжелых од до легких сказок, басен, песен. «Глас патриота на взятие Варшавы» Дмитриева ниже од Державина, но Жуковский в 1831 году вспоминает Дмитриева и приводит отрывки из «Гласа патриота», в то время, когда и Пушкин вдохновляется одами «Клеветникам России» и «Бородинской годовщиной». Мы уже приводили отзыв Пушкина о Дмитриеве как баснописце. Но молодой поэт ценил, как и его современники, старика Дмитриева за образцовый слог (I, 174). Особенно нравилась Пушкину сказка Дмитриева «Модная жена» – «сей прелестный образец легкого и шутивого рассказа» (V, 122), прелестная баллада Дмитриева (Карикатура, IV, 72), и вообще ему нравились «прелестный сказки Дмитриева» (V, 126) Наблюдения Дмитриева над русской жизнью, хотя и не полные, отрывочные, выразившиеся в «Чужом толке» и в сатирических сказках, не могли пройти без влияния на Пушкина. Так повлияли, конечно, на нашего поэта и остроумные эпиграммы Дмитриева на стихотворцев – эти образцы литературной критики XVIII века и начала XIX. Нельзя не упомянуть и о «Карманном песеннике, или Собрании лучших светских и простонародных песен», изданном Дмитриевым в Москве в 1796 году. Подобно Чулкову и Новикову Дмитриев соединил хорошие простонародные песни с искусственными XVIII века, поместив и свои песни, и Карамзина, и Державина, и других. Подражание этим народным песням и сказкам, изданным в сильно искаженном виде Чулковым и Новиковым под названием «Русские сказки» и пр. в 1780–1783 годах, охватывает Львова («Добрыня, богатырская песня», изд. 1804 года), Карамзина (Илья Муромец, 1794 год), Радищева («Альоша Попович, богатырское песнопение», 1801 год) и др.



И.И. Дмитриев

«Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные, и прочие оставшиеся через пересказанные в памяти приключения», изданные в 10 частях Новиковым в 1783 году, имели для писателей, занимавшихся сюжетами из русской полуисторической-полусказочной старины, то же значение, что «Древние Российские стихотворения» (с 1804 года и особенно с 1809-го), или сборник богатырских былин и старых песен Кирши Данилова, так как «Илья Муромец» Карамзина, «Альоша Попович» Радищева, баллады Жуковского «Громобой» и Каменева «Громвал» связаны так или иначе с лицами и подробностями этих сказок. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила», отражающая влияние сборника Кирши Данилова многими подробностями и непосредственно, и через поэмы Радищева, Карамзина и др., связана также с «Русскими сказками» 1780–1783 годов. Сказки, изданные Новиковым, были повторены третьим изданием в 1820 году, с некоторыми сокращениями, переделкой и дополнениями. Пушкин, находясь на юге, в 1821 году просил выслать ему несколько частей «Русских сказок». По всей вероятности, ему и были присланы или «Сказки» изд. 1783 года, или 1820 года. Отличия последних от первого издания заключаются в трех живых действительно народных анекдотах: о воре Тимошке, о цыгане и о воре Фомке. Это уже первые опыты изложения народных сказок в новом, почти неукрашенном виде, исключая слог, который сглажен в литературном стиле. Не то представляют т. н. народные сказки в первом издании 1780–1783 годов. Это в полном смысле волшебные истории вроде «1001 ночи», в которых имена русских богатырей, исторические названия Древней Руси, фразы из былин и народ-

ных сказок – преимущественно о типичной Бабе-яге, ее жертвах и Кощее – утопают в смеси заимствованных и выдуманных подробностей и лиц. Тут находим и злых волшебниц, волшебников, появляющихся в облаках с громом, в тучах, как пушкинский Черномор, и именно с целью похищения красавиц, и добродетельных волшебниц – Добрад, Велеслав, – помогающих героям Булатам, Громобоям, Алешам, Чурилам или Добрыням, связанным с кн. Владимиром и Киевом. Но последний окружен очарованными домами, замками. Вообще подробности быта более подходят к французским нравам XVII–XVIII веков, взятым из сказок Гамильтона, Флориана, Лафонтена, чем к русским, столь типичным уже в изд. 1820 года, в трех названных сказках. Всем известен характер сказок о царевице Хлоре или Февее, изложенных с нравоучительной целью Екатериной II. Напрасно мы будем искать следов таких подробностей этих сказок, как сын Рассудок, Роза без шипов, добродетель, в каких-либо народных сказках. К этим аллегорическим, морально-сатирическим фигурам т. н. народных сказок и особенно любимых богатырских сказок присоединяются в изданиях-переделках XVIII века и в начале XIX века еще превращения ложноклассических подробностей стиля, воззрений в т. н. русские – старинные: Феб уравнился с Световидом, Лада с Венерой, Лель с Купидоном, Полель с Гименом и т. п. Все эти новые подробности составители народных сказок XVIII века объясняли из рукописных сборников былин и сказок, из хронографов и временников, из иностранных пособий по истории России: скандинавских саг, византийских летописцев. Благо что академики XVIII века издали и византийских историков, и летописи, и отрывки из хронографов. Русские повествователи не могли еще свыкнуться с различием между былинным Тугорканом и Полифемом, между Рогнедой и Баяной или Миланой. Вот почему и наши классические писатели, бравшиеся за поэмы из русской истории, следовали или Хераскову, или соединяли материал, как умели (так поступил и Пушкин в «Руслане и Людмиле»), или совсем бросали планы русских поэм из времени Владимира св. или князей-язычников, задуманные Жуковским и даже Пушкиным.

Мы позволим себе отметить и еще некоторый черты «Русских сказок» 1783 года и их влияние на русских авторов сказок, поэм, баллад. Львов, автор «Добрыни богатырской песни», напечатанной только в 1804 году, несомненно пользовался «Русскими сказками», разделяя с ними объяснение Феба или Аполлона – Световидом. Эта песня Львова такое же недоконченное шутовское подражание народным мотивам, как и ранее написанная сказка Карамзина, или «Богатырская песнь Ильи Муромца» 1794 года. Вспоминая действительно народные сказки «своих покойных мамушек» и ставя их выше греческой и римской мифологии, как доставляющих также удовольствие «в чародействе красных вымыслов», Карамзин рассказывает пробуждение красавицы, очарованной злым хитрым волшебником Черномором (отсюда пушкинский волшебник в «Руслане и Людмиле») посредством талисмана доброй волшебницы Велеславы. Этот рассказ нежной встречи Ильи Муромца с витязем-женщиной изложен почти что в стиле «Русских сказок» 1783 года. Кроме Черномора мимоходом Карамзин упоминает Людмилу из своей более ранней баллады «Раиса» 1791 года, повторенную Жуковским и Пушкиным в «Руслане и Людмиле». «Герой древности молодой богатырь Илья Муромец» не удался Карамзину, так как у него не было под рукой еще даже и былин Кирши Данилова 1804 и 1819 годов. В последнем издании, в предисловии было указано важное значение для суждения о древности богатырских песен и др. Баллада Каменева «Громвал» 1804 года вполне покрывается подробностями «Русских сказок» 1783 года. Здесь находим и богатыря Громвала, и коварного злого волшебника Зломара, похитившего Рогнеду, и добрую волшебницу, являющуюся в виде лебеди, и чудесное возвращение похищенной. Мы уже имели случай ранее² указать повторение подробностей «Русских сказок» 1783 года в сочинениях Николая Радищева под названием «Альоша Попович богатырское стихотворение» 1801 года и «Чурила Пленкович», часть вторая 1801 года, и отношение поэм Радищева к «Руслану и Людмиле». Радищев воспользовался и

² Университетские известия 1895 г., Киев, № 6 – июнь.

Ильей Муромцем Карамзина, и «Русскими сказками»; но, по всей вероятности, Пушкин читал самостоятельно и последние, так как в «Сказках» 1783 года (часть IX) находим поле, покрытое мертвыми человеческими костями, и среди них богатырскую голову, под которой лежал великий меч (стр. 206), сильный чох (чихание. – *Примеч. ред.*), потрясший облака, борьбу с чародеем, поднявшимся на воздух, появление похитителя с громом в ниспадшем облаке, чудное заключение красавицы, шапку-невидимку, финнов и пр.

«Русские сказки» дали начало и русским повестям. Так, первый русский романист Нарежный издал в 1809 году повести, под названием «Славенские вечера», заимствовав содержание и героев из «Сказок» 1783 года. Здесь в отдельных рассказах появляются Громобой и Миловзора, Рогдай, Велесил – витязи Владимира-князя, Любослав и к ним присоединены в том же стиле повести о Кие и Дулебе, Рогволоде. Исторические повести Нарежного, как его поэмы 1798 года («Брега Альты», «Освобожденная Москва», «Песнь Владимиру киевских баянов» и др.), трагедия 1804 года («Димитрий Самозванец») примыкают вполне к ложноклассическим образцам Хераскова, Чулкова и Новикова. Достаточно указать, что в повести «Любочесть» герои из времен Владимира и печенегов ведут романическую переписку, изъясняются языком исторических трагедий Сумарокова. Карамзин, как увидим далее, сам разделял отчасти эти недостатки исторических повестей, что проявилось в «Наталье, боярской дочери» 1792 года и в меньшей степени в «Марфе Посаднице» 1803 года. Первая повесть Карамзина имеет предисловие, в котором автор прямо связывает происхождение своей «были или *истории*» со сказками, слышанными от бабушек, одна из которых (прапрабабушка в XVI–XVII веках) «почти всякий вечер сказывала сказки царице NN.». Многие в этой первой повести Карамзина в народно-историческом стиле напоминают русские сказки 1783 года или «Приключения» Новикова 1785 года с его Фролом Скобеевым и вообще те рукописные сказки-повести, которые обращались с XVII века в связи с переводными. Подражатели Карамзина в этом направлении и даже Жуковский в «Марьиной роще» 1809 года стоят ниже Карамзина. Неизвестный автор «Ольги» 1803 года рассказывает о князе Игоре, царствовавшем в Новгороде, о Прекрасе, внуке Гостомысла.



А.Н. Радищев

Карамзину же принадлежит бесплодное влияние на сентиментальные романы, под названиями «Несчастливая Лиза» кн. Долгорукова, 1811 года, «Несчастный Л. российское сочинение» 1803 года, «Марьяна роща» с героями, взятыми из сказок 1783 года, Жуковского, и др. Только маленький рассказ баснописца А. Измайлова «Бедная Маша. Российская, отчасти справедливая повесть» 1803 года, несмотря на сплетение трагических условий, приближается к реализму в силу присущего этому баснописцу таланта в изображении простонародных и городских чиновничьих типов. Влияние Фонвизина сказывается в названии героев Простаковыми, Миловым; но новая Софья – конца XVIII – начала XIX века – является не торжествующей со своей добродетелью, а «бедной», страдающей. Простая русская свадьба героини – со свахой, с народными песнями – разрешается обманом со стороны жениха, и городская героиня, несмотря на свою кротость и примирение во имя любви, гибнет.

Опыты реального романа, представленного Нарезным и, без всякого сомнения, впервые возведенного на высоту художественного создания Пушкиным, заключались не в исторических и не в сентиментальных повестях, а в т. н. нравоучительных романах и в романах с приключениями. Здесь, быть может, первое зерно, из которого развился «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Повести Белкина» и др. В 1799–1800 годах баснописец Измайлов издал роман «Евгений, или Пагубные последствия дурного воспитания» (2 части). Это имя, только в женской форме, тотчас же повторилось в повести Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание» 1803 года, «Евгения, или Письма к другу» 1818 года. Опять черта, не лишенная значения для истории происхождения «Евгения Онегина». У «Евгения» Измайлова, погибшего от недостат-

ков воспитания, так же, как у Евгения Онегина, были распущенные французские гувернеры; оба героя проводят рассеянную жизнь в Петербурге, «убивают время». Небольшие подробности общего характера исчерпываются именами и положениями, к которым следует отнести и возвращение героя Измайлова в большой матери, Татьяне, по смерти которой Евгений получает наследство, проматывает его, лишается невесты и умирает молодым. Зимняя поездка Евгения в столицу и ее описание до некоторой степени соответствуют описаниям Пушкина. Конечно, все это только намеки на художественное развитие романа у Пушкина.

При преобладающем количестве переводных романов и повестей над немногими русскими повестями во второй половине XVIII века и в первой четверти XIX века любопытны всякие проявления реализма в русской повести. Поэтому здесь можно упомянуть и о следующих произведениях в этом роде: «Похождения Ивана Гостинного сына» (1785) Новикова, в которых находятся изображения святочных вечеров и история Фрола Скобрева – известная повесть XVII века. Но особенно замечательны романы и повести Нарежного. Его большой роман «Российский Жильблаз, или История жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова, его сына Никандра и семейная история помещика Простакова», вышедший в 1814 году, только в 3 частях вместо шести, несмотря на подражание Лессажу, представляет множество очерков семейной и общественной жизни начала настоящего столетия (XIX века. – *Примеч. ред.*) и конца прошлого. Мы не находим у Пушкина каких-либо отзывов о повестях Нарежного; но это еще не свидетельствует о его незнании с такими выдающимися произведениями своего времени, как «Бурсак» или «Два Ивана» Нарежного. Гоголь, так же как и Пушкин, нигде не упоминает о Нарежном, имевшем для Гоголя значение несомненное. Итак, в области повести и романа Пушкин имел уже предшественников.

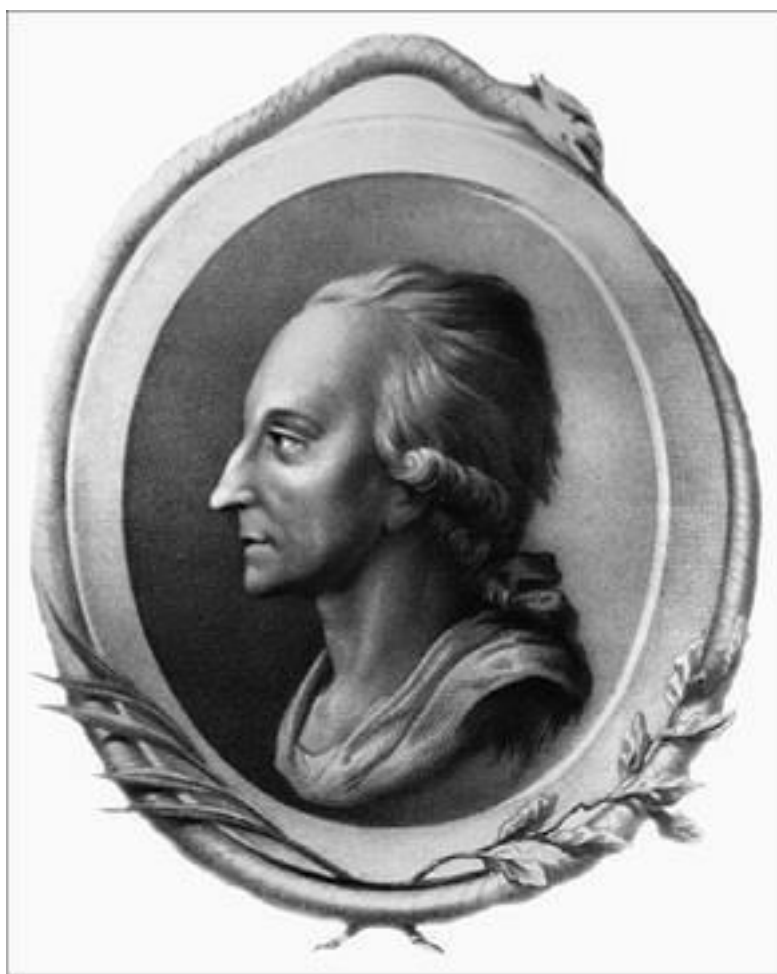
Нам остается сказать о ложноклассической драме. Пушкин наследовал от нее только трагедии, драматические сцены, присоединяя комические сцены по образцу Шекспира, но не отдаваясь комедии исключительно. Какая противоположность с Фонвизиним и плеядой малоизвестных и неизвестных комических и сатирических писателей XVIII века, которые впервые возвели разговорную народную речь в обиход литературы! Черты этой народной речи у комических писателей XVIII века отличаются такой же пестротой и разнообразием, как во всяких неустановившихся новых формах. Тут мы находим и более или менее удачные опыты выбора и переделки народных песен, сказок, пословиц в их живописных выражениях, и обыденную речь, случайно подхваченную в народных говорах, со своеобразным выговором звуков. Кроме этой внешней формы речи комедии и комические оперы внесли в русскую литературу богатое содержание народной жизни, например святочных обрядов, свадебных с их драматическим развитием и др. Все это вместе с баснями, сказками давало почву для русских баллад, поэм, повестей и новой драмы в стиле Шекспира, с каковой и выступил так необычно Пушкин.

Нам нет необходимости распространяться о трагедии XVIII века и ее продолжении в начале XIX века с некоторыми изменениями. Начиная от Сумарокова до Озерова и Крюковского русская трагедия сохраняла одну и ту же ложноклассическую форму с ее напыщенными торжественными положениями, речами, с ее кровавыми, преувеличенными действиями, или, вернее, выражениями страстей.

Переходя теперь к выдающимся писателям начала XIX века, ближайшим предшественникам Пушкина, – к Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, – мы сделаем заключение о русской поэзии XVIII века. Ей недоставало законченности, устойчивости языка, формы и содержания. Господство ломоносовского предания с его славянизмами, растянутостью речи не подрывалось предшественниками Карамзина конца XVIII века и начала XIX. Карамзин в конце прошлого века впервые дал иные образцы для новой литературной речи, выработанной просто и естественно только Пушкиным. Ложноклассические формы литературы вымирали уже в конце прошлого века: похвальные торжественные слова, оды, поэмы уступали место балладам, путешествиям, повестям, романам. Внешние формы построения и изложения – искусственные и

натянутые, всего более подражательные – сменились естественными и более простыми формами. Содержание литературы в такой же мере упростилось и сблизилось с жизнью. Литература XVIII века по содержанию отличалась односторонностью, которая зависела и от отношений писателя к публике – исключительно высших классов, и от его кругозора. Карамзин стал вводить русскую публику в интересы европейской жизни, Жуковский – в интересы новой европейской поэзии; но оба писателя понимали значение народных начал и самобытности творчества, что и соединил в величайшей степени Пушкин. Оценивая русскую литературу XVIII века, не надо забывать ее исторического значения, что сознавал и Пушкин. К приведенным уже отзывам нашего поэта о литературе XVIII века присоединим еще его заметки о Фонвизине, Простаковых которого – «чету седую, с детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов» (III, 333) – Пушкин вывел в V главу «Евгения Онегина» среди деревенских гостей Лариных: «Недоросль – единственный памятник народной сатиры» (V, 124); «со времен Фонвизина мы не смеялись» (V, 292); «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин, – пишет брату поэт в 1824 г. – Что он за нехристь? Он русский, из перерусских русский» (VII, 87). В «Евгении Онегине» Пушкин закрепил значение Фонвизина в следующих стихах I главы:

Волшебный край! Так в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин.



Я.Б. Княжнин

Последнее оттеняет самостоятельность творчества Фонвизина, что так ценил Пушкин и что признавал за немногими. Не раз высказывал он сожаление в этом отношении даже по поводу литературной деятельности Жуковского, которого глубоко уважал как человека и как поэта. Такое же уважение Пушкин питал и к Карамзину, увлеченный его «Историей». Здесь мы уже имеем дело с современниками Пушкина, с его живыми отношениями к Карамзину и Жуковскому.

Карамзин начал свою литературную деятельность переводами и подражаниями, причем стихотворная форма привлекала его, как многих писателей XVIII века. Он является одним из первых русских поэтов-балладников: в 1791 году Карамзин написал балладу «Раиса», в которой обращает внимание имя соперницы героини – Людмилы, воспетой Жуковским, а еще ранее, в 1789 году, – «Граф Гваринос, древнюю гишпанскую историческую песню» – предшественницу чудного «Сида» Жуковского. Песни Карамзина и эти стихотворения, в форме посланий, описаний природы (времен года), пользовались в свое время вниманием публики, но отступили на задний план в дальнейшем развитии его литературной деятельности.

Путешествие за границу дало другое направление деятельности Карамзина: он оставил стихи и стал писать прозой, но такой, которая по своим совершенствам не уступала стихотворной речи его современников. Можно без преувеличения сказать, что русская проза впервые заговорила поэтическим изящным легким языком под пером Карамзина. Особенно необыкновенным явлением для своего времени были «Письма русского путешественника» 1791 года. С них, можно сказать, русская литература сделалась приятным повседневным живым удовольствием, живою мыслью русского общества. «Письма русского путешественника» и журналы Карамзина положили начало широкому распространению литературных и общечеловеческих интересов. Все, что было в русской литературе XVIII века выдающегося, – все это как-то неполно отражало жизнь и вкусы читателей. Теперь в прозе Карамзина началось сближение между публикой и писателем, для которого всякий читатель являлся близким доверенным человеком, наравне с любезными друзьями. Писатель подходил к самым деликатным вопросам жизни, к сердцу читателя, которому поверял свои настроения, увлечения, желания. Торжественные реляции, патриотический жар или сатира, смотрящая на русскую жизнь свысока, как закон нравственности, составлявший особенность русской поэзии XVIII века, сменились привлекательной грустью, кротостью, увлечением природой, естественной жизнью, представляемой в рамках сельской-деревенской простоты. Последняя, впрочем, далеко отступила от грубой естественности народных сцен в произведениях XVIII века. Получалось что-то новое: образы из жизни образованного класса, но облеченные в костюмы добродетельных крестьян, из переводных романов. Такова «Бедная Лиза» 1792 года, произведшая необыкновенное впечатление на русских молодых читателей, как о том свидетельствует интересное частное письмо 1799 года: «Ныне пруд здесь (в Москве у Симонова монастыря, где погибла героиня Карамзина) в великой славе; часто гуляет около него народ станицами и читает надписи, вырезанный на деревьях вокруг пруда». Эти надписи, по словам любопытного письма, были или чувствительного характера, или даже такого грубого, вроде упреков автору «Бедной Лизы». Очевидно, читатели искали осуществления в действительности романической истории Карамзина. Они не находили в ней зародыша того романа, который должен был развернуться блестящим цветком на тощем поле русской словесности. Между тем этот образованный представитель дворянского русского общества, скучающий и отыскивающий идеал по литературным впечатлениям от сентиментальных романов, идиллии – прямой предшественник Онегина и всех последующих героев русского идеализма. Это Эраст Карамзина – вполне естественный как в своем увлечении, так и в уступках свету, суеде, невоздержанию и грубому поступку, погубившему бедную Лизу. Без сомнения, Пушкин имел в виду повесть Карамзина, когда писал в 1830 году «Барышню-крестьянку» («Повести Белкина») – Лизу, перерядившуюся для свидания с женихом крестьянкой. И следующее замечание Пушкина относится к «Бедной Лизе»: «Эти

подробности (свидания молодых людей, возрастающая взаимная склонность и доверчивость) вообще должны казаться приторными». Тут же в повести Пушкина находим и прямую ссылку на другую повесть Карамзина (IV, 88), о которой сейчас же и скажем: «Круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести». Другая повесть Карамзина «Наталья боярская дочь» 1792 года, отразившаяся в содержании известной народной пьесы Пушкина «Жених» 1825 года (героиня – Наташа, герой – разбойник, похищающий девушку), скорее приближается к «Руслану и Людмиле» Пушкина, чем к историческим романам, как «Марфа Посадница» (1802), погубившая, кажется, навсегда всякие стремления правдиво и выпукло передать новгородскую старину. Талантливый Карамзин, идя по пути Новикова, пришел к русской истории. Он не понимал русского простонародного элемента и остался при своем европейском развитии и увлечении документальной стариной, в претворении и изучении которой заслужил себе справедливо славу. Влияние истории Карамзина на Пушкина, как и вообще на всех русских писателей начала настоящего столетия, несомненно, было громадным; но Карамзин отличался еще привлекательным характером и в этом отношении играл видную роль в жизни и в идеалах Пушкина. Личные отношения их начались еще во время пребывания Пушкина в Лицее. Сделавшись придворным историографом, Карамзин для печатания «Истории государства Российского» получил много милостей от двора. После безмолвного труда в Москве и в подмосковной деревне над историческими материалами и над обработкой первых 8 томов Карамзин переселился в Петербург и каждое лето подолгу жил с семьей в Царском Селе, упиваясь чистым воздухом, трудом и отдавая свободное время семье и гостям, среди которых появлялся с благоговением к литератору – главе передовой литературы и историку – молодой Пушкин. Живой представитель новой школы карамзинистов, боровшихся против защитников ломоносовской теории слога во главе с Шишковым – и бездарными писателями поэм, трагедий, торжественных слов, од, – преданный истории Карамзин увлекался своими молодыми последователями, их шутивным кружком «Арзамас» с Жуковским и с только что выступившими в печатной литературе с 1815 года Батюшковым и лицеистом Пушкиным. Естественно, что в семье Карамзина Пушкин находил не одно только развлечение, но и – богатую пищу для ума и сердца. Не без влияния на поэму Пушкина из времен Владимира, начатую еще в Лицее, могла быть «История» Карамзина и еще более на размышления о русской истории и раздумья Пушкина, которые он делил с блестящим царскосельским гусаром – мыслителем Чаадаевым. В такой обстановке у Пушкина и созрела мысль вместо назначения к высшим чинам государственной службы, по прямым целям аристократического Лицея, выбрать служение Музам, по пути литератора-публициста, или придворного историографа Карамзина. Рано познакомившись с «Историей» Карамзина, ранее ее появления в печати в 1818 году, Пушкин успел многое передумать и в кругу новых передовых и увлекающихся людей представил эпиграммы на Карамзина и на его основные взгляды. Карамзин, покровительствовавший Пушкину, называл его, по выходе из Лицея, либералом. И эта черта различия легла навсегда между Карамзиным и Пушкиным, несмотря на примирения, горячую благодарность молодого поэта за ходатайство Карамзина в 1820 году, несмотря на искреннее уважение к трудам и значению Карамзина со стороны Пушкина в течение всей жизни поэта. Мы еще возвратимся к влиянию Карамзина на Пушкина при создании «Бориса Годунова», теперь же приведем замечательное свидетельство Пушкина о первом появлении «Истории государства Российского», написанное вскоре после смерти Карамзина в 1826 году: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской Истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в постеле (больной) с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шума и произвело сильное впечатление; 3000 экземпляров разошлось в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все (светские люди; V, 58), даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им не известную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалось найдена Карамзиным, как Америка Колум-

бом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина, зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (примечания V, 59) «Русской Истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Молодые якобинцы негодовали (припомним эпиграммы самого Пушкина: «И, бабушка, затеяла пустое: Докончи лучше нам Илью-богатыря» 1818 года и др.). Повторяю, что «История Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (V, 40–41).

В Лицее же Пушкин познакомился, может быть, в семействе Карамзина с Жуковским и Батюшковым, влияние которых, как непосредственных поэтов, отразилось всего более на первых произведениях «арзамасского» Сверчка (прозвище Александра Сергеевича – по балладе Жуковского), ближайшего к выдающемуся певцу и балладнику – арзамасской «Светлане» Жуковскому.

Первые произведения Батюшкова, появившегося в печати около 1810 года, должны уже были обратить на себя внимание лицеиста Пушкина по своему слогу, как прозаическому («Письма русского офицера из Финляндии»), так и поэтическому. Пушкин последовал за Батюшковым, найдя в нем совершенства державинской поэзии, освобожденной от недостатков неестественности, преувеличения, неровности и неискренности в чувствах, или вернее – неумелости дать выражение, подыскать подходящие действительным чувствам мысли и слова. Каждое новое произведение Батюшкова Пушкин ловил с восторгом и настраивал свою лиру в тон нового переводчика классических, французских и итальянских поэтов. Из подражания Батюшкову Пушкин избирает Парни и Тассо своими образцами в области лирики и эпоса. Еще более влияли на Пушкина оригинальные пьесы Батюшкова: его сатиры («Видения на берегах Леты», «Певец в беседе Славянороссов»), легкие эпиграммы, его военные песни («Разлука», «Пленный», «Тень друга» и др.), послания к друзьям («Мои Пенаты») и особенно нежные элегии («Таврида», «Умиравший Тасс», «Воспоминания»), в которых печаль об утраченном счастье соединяется с воспоминаниями о радостях жизни, о сладострастии любви – в увлекательных, но не грубых картинах, полных эллинской простоты, с чашами, цветами и беспечностью. Как долго отражалось на Пушкине влияние Батюшкова (указанное в частности Гаевским в «Современнике» 1863 года. М. 7 и 8, акад. Гротом о Пушкине и акад. Л.Н. Майковым о Батюшкове), можно судить из известного произведения Пушкина – «Моя родословная» 1830 года, для которой послужили основанием следующие стихи Батюшкова:

Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор,
Меня в календаре в числе счастливых нет,
Я... отставной ассессор!

(Сочинения К.Н. Батюшкова, III, 1886, 343).



К.Н. Батюшков

Это стихотворение 1817 года из письма Батюшкова к В.Л. Пушкину, как «старосте» «Арзамаса», конечно, знал хорошо племянник – «маленький Пушкин», о котором Батюшков с восторгом упоминает несколько раз в своих письмах. Приведем следующую выдержку из журнальной статьи Батюшкова 1814 года «Прогулка в Академии Художеств», послужившую темой для вступления Пушкина в повесть «Медный всадник»: «Взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, – любясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал Англичан и Азиатцев, Французов и Калмыков, Русских и Финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу – лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн:

За ланью быстрой и рогатой,
Прицелься к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:

Souvent un faible gland recéle un chêne immense!³

И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные!.. «Здесь будет город», – сказал он, – «чудо света, сюда призову все художества, все искусства, гражданские установления и законы победят самую природу». Сказал, и Петербург возник из дикого болота» (Сочинения К.Н. Батюшкова, Пб., 94–95). Кажется, незачем и подчеркивать все то, что нам хорошо напоминает вступление Пушкина в поэму «Медный всадник».

Многие выражения Батюшкова повторяются у Пушкина, хотя бы, например, излюбленные выражения о «сладострастии высоких мыслей и стихов» («душ великих сладострастие», I, 124; «На ложе сладострастия», 134; «счастье, сердечно сладострастие, и негу, и новой», 138; «души прямое сладострастие», 243), о «башнях древних царей – свидетелей протекшей славы» (I, 151–152, «Послание к Дашкову»: «Пред златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады». «Москва отчизны край златой»), «певце любви», или такие фразы, как «и море и суша потворствуют нам» (I, 239, ср. «Песнь о Вещем Олеге»):

Но дружество найдет мои в замену чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья (I, 275).

Нечего говорить о лицейских стихотворениях Пушкина, в которых встречаем подражательные произведения, вроде «К сестре» 1814 года, «Городок», «К Батюшкову» (послания 1814 и 1815 годов), романс «Под вечер осенью ненастной» (см. ниже). Даже «Музу» 1821 года, написанную в Киеве (14 февраля), Пушкин, по свидетельству современников, «любил за то, – что (стихотворение это) отзывается стихами Батюшкова» (I, 235). Может быть, несколько преувеличивая, Пушкин приравнивал Батюшкова к Ломоносову: «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое» (V, 20). Но Батюшков почти ничего не сделал для проведения народности в содержании своих произведений. Он мечтал об исторических сюжетах, о поэмах в народном стиле и, без сомнения, создал бы что-либо выдающееся в этом роде, если бы не стечение обстоятельств, нарушивших равновесие его душевного строя, его страстей. Он встретил только «Руслана и Людмилу» Пушкина и исчез навсегда из области литературных и общественных интересов. Друзья, и в том числе молодой Пушкин, ожидали от Батюшкова многого (VII, 107). Без сомнения, он, а не кто другой, разбудил поэзию в Пушкине.

Между тем Пушкин, вступая в свете со всей страстью и упоением жизнью, преклонялся про себя перед личностью и поэзией Жуковского (1783–1852):

Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, —

³ Нередко желудь малый таит огромный дуб в себе (фр.). – Примеч. ред.

писал он в послании «К Жуковскому» 1817 года (I, 164). Еще с большей искренностью и увлечением отнесся Пушкин в 1818 году в двух прелестных обращениях «К портрету Жуковского» и к «Жуковскому»:

Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел,
И твой восторг уразумет
Восторгом пламенным и ясным!

Жизнь Жуковского занимает видное место в житейских отношениях Пушкина, от первого вступления нашего поэта в литературу, в сознательное служение ей до последних мгновений Александра Сергеевича, когда он скончался в день рождения Жуковского, 29 января 1837 года. Жуковский так же покровительствовал Пушкину, как Карамзин; но, несмотря на неравенство лет (Жуковский родился в 1783 году, 29 января), между поэтами завязалась тесная искренняя дружба: с 1822 года Пушкин в письмах обращается с Жуковским на «ты», признавая его с памятного момента лицейской встречи в 1815 году, когда Жуковский подарил ему стихи (V, 2), своим учителем. Пушкин называет Жуковского в послании «К сестре» 1814 года певцом Людмилы и задумчивой Светланы, в IV песне «Руслана и Людмилы» 1820 года «Певцом таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая» и вспоминает свои впечатления от «Громобоя» и «Вадима» («Двенадцати спящих дев»); еще позднее, в 1828 году, Пушкин возвращается к первому произведению Жуковского, поразившему «весь свет» – в подражании Грею, – т. е. «Сельскому кладбищу» 1802 года. В истории русской словесности Пушкин признавал за Жуковским важное и решительное значение в области слога (VII, 107 и 129). Но влияние Жуковского на Пушкина не ограничивалось одним слогом и юношескими подражаниями (например, послание Пушкина к кн. Горчакову написано в подражание посланий Жуковского к Филалету – Тургеневу): оно шло глубже и отражалось в элегиях Пушкина, в образах и выражениях, впервые введенных в русскую литературу Жуковским из подражания германской поэзии (особенно Шиллеру), а отчасти и самостоятельно, в отклонении от подлинника, в образах, созданных Жуковским в соответствии с его духом, со всем пережитым и пережитым мечтательным поэтом. Кроме элегии (напр., мысли о смерти, об умерших женщинах, близких – дорогих сердцу поэта) влияние Жуковского на Пушкина сказалось и в народных балладах, как «Жених», «Утопленник», «Бесы», и в народных сказках, и в патриотических одах, написанных поэтами во время совместной жизни в Царском Селе и изданных вместе в одной книжке 1831 года. Последнее было своего рода состязанием и сотрудничеством двух поэтов.

Не рассматривая всей деятельности Жуковского, пережившего А.С. Пушкина и издававшего его сочинения с собственными поправками, мы считаем необходимым остановиться на параллельном изложении жизни и деятельности В.А. Жуковского с жизнью и деятельностью А.С. Пушкина. Здесь было много и общего, и противоположного, что, как известно, сближает нередко людей и образует друзей.

Мы уже заметили выше, что оба выдающихся поэта первой половины настоящего столетия одинаково были связаны по происхождению с Востоком, с Турцией. Мать Жуковского была пленной турчанкой, занимавшей в семействе тульского помещика Бунина – отца Жуковского, получившего отчество и фамилию от бедного невского дворянина Андрея Жуковского, – положение ветхозаветной Агари. Но добрые чувства соединяли эту старую русскую семью Буниных, давшую кроме нашего поэта таких литературных деятелей, как Киреевские, Зонтаг. Жуковский так же, как и Пушкин, с детства был привязан к женскому обществу; но школа не испортила его, не вызвала тех нечистых увлечений, какие пережил Пушкин. В душе Жуковского

и в Московском благородном пансионе продолжала жить чистая нравственная привязанность к тем «девочкам» и – родственницам, с которыми юный поэт провел детство в деревне «в златых играх». Быть может, это была и та нравственная, философская атмосфера, которой не доставало в замкнутом Царском Селе, среди талантливых знатных юношей, явившихся из объятий домочадцев – деревенских и городских передних с девичьими, под сень удаленного от столицы и надзора Лицея. В Москве же, напротив того, юноши окружены были преданиями Дружеского общества, масонов, таких философов-педагогов, как Прокопович-Антонский, Тургенев и др. В этой атмосфере вырос и молодой Карамзин, возбуждавший в конце XVIII века и в начале XIX, до переезда в Петербург (1816), внимание московского общества и молодежи своими журналами, сентиментальными нежными повестями, историческими воспоминаниями и множеством полезных литературных занятий. Жуковский вырос и развился в школе Карамзина и был его ближайшим преемником как в литературе (баллады, издание «Вестника Европы», литературных сборников, повестей, критических статей и пр.), так и в жизни (меланхолия и кротость, страсть к литературному труду, самообразование, патриотизм). И Карамзин вел свой род с Востока, как его современник певец Фелицы – Державин. Оба поэта XVIII века были потомками татар Казанского царства. Кто ищет природных национальных наклонностей, тот не упустит отметить в лице четырех названных русских поэтов восточную мечтательность, силу слова и стиха, выражающих всю пылкость человеческих страстей и всю глубину смирения и упования. Величайшие русские писатели, каждый в свое время, создали эпохи в развитии русского слова и поэзии. Не будем упрекать родную действительность с ее ограниченностью в области духовных интересов, с преобладанием влечений в материальной, так сказать, растительной деятельности, с бедностью средств для внутреннего умственного развития, но с преданиями о высоких нравственных и патриотических подвигах – единственной почвой для самобытного духовного развития. Отсюда такая зависимость и, может быть, неполнота литературного западноевропейского влияния на Державина, Карамзина, Жуковского и даже – Пушкина. И здесь опять черты различия между Жуковским и Пушкиным. Жуковский, как и Карамзин, от подражания французским писателям-баснописцам и лирикам перешел к поэтам немецким и английским; между тем как Пушкин глубоко воспринял начала французской литературы с ее философским рационалистическим направлением, с ее легкой эротической формой. Отсюда веселость, шутка Жуковского являлись в глазах Пушкина наивностью и самая грусть по утраченному счастью земли – прелестной ложью. Что касается отношений к Востоку, то только у Карамзина надо искать их в «Истории государства Российского», а Державин, Жуковский и Пушкин дали великолепные образцы восточного мировоззрения и поэзии в своих бессмертных творениях. Вспомните мурзу в «Фелице», «Видение Мурзы», «Персидскую повесть Рустем и Зораб», «Бахчисарайский фонтан», «Подражание Корану», «Талисман», «Анчар», «Калмычке», «Из Гафиза», «Подражание арабскому» – и вам не покажутся преувеличением пророческие слова нашего славного поэта в «Памятнике» 1836 года:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

Известно, что Жуковский изменил, по цензурным условиям, по смерти Пушкина, его «Памятник» и отнес к великому другу то, что Пушкин написал «К портрету Жуковского» за 20 лет до своей смерти:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что прелестью живой стихов я был полезен.
Ср.: Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,

и пр.

Думаем, что не преувеличим, если отнесем к влиянию Жуковского на Пушкина «пробуждение лирой добрых чувств в народе», внимание к сельской простоте, к деревне. Первая элегия Жуковского, доставившая ему славу, «Сельское кладбище» 1802 года, уже посвящена похвале почтенным трудам простого селянина и его предполагаемой скорби над могильным камнем поэта с печатью меланхолии. Жуковский, как и в дальнейшей своей переводческой деятельности, изменил Грееву элегию: его поэт не только «душой откровенен и добр», как в английском подлиннике, но и:

Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным Творец награду положил⁴.

Мысли о ранней могиле разочарованного душой поэта, поглощенного воспоминаниями о нетленности братских уз в кругу своих друзей, прекрасно выражаются в элегии «Вечер» 1806 года:

Ужель красавиц взоры иль почестей исканье,
Иль суетная честь — приятным в свете слыть
Заглядят в сердце вспомннанье
О радостях души, о счастье юных дней,
И дружбе, и любви и музам посвященных?..
Мне рок сулил брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы...
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать (I, 52–84).

С увлечением сельской простотой и тишиной у Жуковского соединяется влечение к истории русских и славян. Оставивши службу, поэт поселяется в родном Белеве и предается самообразованию, читает летописи и создает «Песнь Барда над гробом славян-победителей», «Людмилу» 1808 года — балладу, имевшую важное значение в русской литературе, и другую большую старинную повесть в двух балладах: «Громобой» и «Вадим», под общим заглавием: «Двенадцать священных дев» 1810 года. Наконец, в 1811 году Жуковский возвысился до воспроизведения народных святочных гаданий и создал «Светлану». Тревоги войны 1812 года отвлекли поэта, написавшего «Певца во стане русских воинов», после которого следует непрерывная переводная деятельность, посвященная таким сюжетам, как «Орлеанская дева», «Жалоба Цереры» Шиллера, «Путешественник и поселянка», «Лесной царь» Гёте, народные произведения Гебеля, с 1816 по 1830 год, на которых мы остановимся подробнее, сказки и др. Чтобы показать отражение настроения Жуковского в элегиях Пушкина, приведу несколько выдержек из ранних произведений Жуковского. В послании «К Филалету» 1807 года заключаются уже чудные раздумья «Стансов» Пушкина 1829 года:

Повсюду вестники могилы предо мной.
Смотрю ли, как заря с закатом угасает —

⁴ Ср. Стихотворения В.А. Жуковского, 1895 г., I т., стр. 33 и III т., 176 стр., дословный перевод 1839 года.

Так, мнится, юноша цветущий исчезает;
Внимаю ли рогам пастушью за горой,
Иль ветра горного в дубраве трепетанью,
Иль тихому ручья в кустарнике журчанью,
Смотрю ль в туману даль вечернею порой,
Во всем печальных дней конец воображаю...
Или сулил мне рок в весенни жизни годы,
Сокрывшись в мраке гробовом,
Покинуть и поля и отческие воды,
И мир, где жизнь моя бесплодно расцвела?

Не приводя далее образцов из поэзии Жуковского, так или иначе пересозданных в сжатых, сильных, но и нежных стихах Пушкина, отметим необыкновенную изобразительность в стихах Жуковского, когда он описывает природу («Людмила», «Светлана» и др.), таинственность видений, ужасов, мучений любви. Элегии, баллады, переводы Жуковского произвели глубочайшее впечатление на русских читателей всех классов и, без сомнения, подняли их высоко в образовательном отношении. Пушкинские герои, Татьяна и Ленский, впервые познали мир, жизнь сердца, свободную мечтательную даль из поэзии Жуковского. Татьяна едва ли не прямая ученица Жуковского. Она не покинула мечтания юных лет, свою безнадежную любовь; но и не уступила давлению обстоятельств возможности нарушить выбранный путь, стремлению посторонних подглядеть ее волнения или падению духа до отчаяния. В поэзии Жуковского проходит повторение мотива насильственной разлуки любящих сердец, и это не подражание, а живой голос пережитого поэтом страстного чувства любви к своей племяннице, которую Жуковский видел и выданной за другого, и, наконец, умершей. Но поэт продолжал свои занятия, свое нравственное усовершенствование. Высокое положение – также более нравственного, чем искательного направления, – какое занял Жуковский при дворе с 1816 года, приводило поэта к служению народному воспитанию. Вот что он писал из Дерпта по поводу своего нового положения: «Внимание Государя есть святое дело. Иметь на него право могу и я, если буду русским поэтом в благородном смысле сего имени. А я буду! Поэзия час от часу становится для меня чем-то возвышенным... Не надобно думать, что она только забава воображения!» (Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу, 1895 г., стр. 168). «Она (новая) должна иметь влияние на душу всего народа, и она будет иметь это благотворное влияние... Поэзия принадлежит к народному воспитанию». В этом же письме Жуковский впервые сообщает о своем знакомстве с народной поэзией Гебеля, которой восторгался и Гёте: «Написал, т. е. перевел с немецкого пьесу, под титулом «Овсяной кисель»... Это перевод из Гебеля, вероятно, тебе неизвестного поэта, ибо он писал на швабском диалекте и для поселян. Но я ничего лучше не знаю! Поэзия во всем совершенстве простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и нам еще неизвестный род» (Там же, стр. 164).

Проследим эти переводы Жуковского из Гебеля. Переводчик старался приблизить к русской жизни не только имена немецких поселян (особенно в простонародной швабской форме), но и подробности, переделывает и опускает некоторые частности. В «Овсяном киселе» у него являются «и Иван, и Лука, и Дуняша», опущено заключение о необходимости деревенским детям идти в школу. Замечательны народные выражения: «заскородил овес, колос оброшенный». В таком же роде и остальные переводы: гнедко – Esel, «гнедко пужлив» (Hüst, Laubi, Merz = Hott Schimmel, Fuchs!); в «Утренней звезде» Жуковский ввел поэтическое изложение молитвы Господней вместо рассказа о молитве вообще⁵. От содержания деревенских сказок

⁵ So helf one Gott, und geb' uns Gott'nen guten Tag, und b'hüt' uns Gott! Wir beten um ein christlich Herz. Es thut uns Noth in Freud' und Schmerz; Wer christlich lebt, hat frohen Muth; Der lieb' Gott steht far alles gut. Ввиду точной передачи подлинника

и песен из Гебеля веет непосредственной верой в загробную жизнь, в будущий суд, в добрые дела, в значение труда и – легендой о кознях дьявола, о привидениях. Вечерние и ночные образы этих страстей из мира духовных средневековых легенд сменяются у Жуковского светлыми, бодрыми картинами «Воскресного утра в деревне», «Утренней звезды».

Нельзя не отметить, что из небольшого числа всех произведений Гебеля Жуковский выбрал подходившие к его настроению и опускал бойкие песни торговцев, рабочих и т. п.

В начала 30-х годов Жуковский с особенным увлечением переводил «Ундину», в которой выразилось настроение поэта: «Испытали все мы неверность здешнего счастья... счастлив еще, когда при разделе житейского был ты сам назначен терпеть, а не мучить; на свете сем доля жертвы блаженней, чем доля губителя. Если сей лучший жребий был твой, читатель, то, может быть, слушая нашу повесть, ты вспомнишь и сам о своем миновавшем, и тихо милая грусть тебе через душу прокрадется, снова то, что прошло, оживет, и ты слезу сожаленья бросишь». Если мы обратимся к переводам Жуковского из Шиллера, то и здесь увидим, какую видную роль играют женские типы: «Кассандра» 1809 года, «Жалоба Цереры» 1831 года, «Орлеанская дева» 1821 года. Все это материалы, без сомнения, отражавшиеся и в жизни русской женщины 20—30-х годов, и в литературе. Опять черта, не лишенная значения для пушкинской Татьяны, которую поэт готов сравнить со «Светланой» Жуковского (т. III, гл. V, 326). Вольный перевод из Шиллера «Голос с того света» 1815 года, начинающийся словами почившей: «Не узнавай, куда я путь склонила, в какой предел из Мира перешла...» – может быть сближен с чудными элегиями Пушкина на кончину госпожи Ризнич и др.

Итак, в области поэмы («Двенадцать спящих дев» и др.) и элегии Жуковский прямой предшественник Пушкина, в особенности по глубокому выражению женской души. Сюда надо присоединить и баллады Пушкина («Утопленник», «Жених» и др.), которые отличаются от баллад Жуковского большей верностью русской народной легенде. Творчество Пушкина иногда так совпадало с переводами и подражаниями Жуковского, что Пушкин должен был оправдываться в независимости своих трудов от воздействий Жуковского, как, например, во время появления «Шильонского узника» и «Братьев-разбойников».

Поэзия Пушкина в этом новом направлении, близком к возвышенному настроению Жуковского, развернулась на юге. Герой поэм Пушкина столько же подражание Байрону, сколько и рыцарской романтической поэзии Жуковского и вместе с тем результат дум Пушкина о пережитом. Рыцарь Жуковского, страдающий от несчастной любви, холоден к настоящему: в его душе «к далекому стремленье, минувшего привет» («Невыразимое» 1818 года); он смотрит недоверчиво на все земное, так как здесь не суждено сбыться мечтам. Это возвращение к направлению Жуковского последовало в Пушкине после легкой сатирической деятельности в Петербурге – смелой и резкой до крайности – и после увлечения театром, светской жизнью.

Возвращением с юга, как и первоначальной высылкой на юг, вместо более тяжелой кары, Пушкин был обязан Карамзину. В Михайловском поэт ревностно принялся за чтение «Истории» Карамзина. Если на основании прочтения первых томов «Истории» Карамзина Пушкин мог создать «Песнь о Вещем Олеге» 1822 года – вероятно, и под впечатлением от посещения Киева в 1820 и 1821 годах, – то теперь, в сельском уединении, среди псковской старины в народном быте, песнях, сказках, Пушкин обратился ко времени Бориса Годунова и Лжедмитрия. Сам Карамзин давно питал пристрастие к загадочному характеру Годунова. Еще в «Вестнике Европы» 1802 года («Исторические воспоминания и замечания на пути в Троице») Карамзин подробно рассуждал о событиях, сопровождавших возвышение и падение фамилии Годунова. Он колебался признать летописные обвинения «Годунова убийцей св. Димитрия»,

удивлялся его силе воли (в сторону властолюбия и разума Кромвеля), сомневался в мнимых преступлениях, взведенных на Бориса летописцами, хвалил его за любовь к семейству, к наукам, к благосостоянию народа и, наконец, подобно летописцу Пимену, заключал свой рассказ о самозванце и гибели семьи Бориса: «Бог судит тайного злодея; а мы должны хвалить царей за все, что они делают для славы и блага отечества»... «Властолюбие, – доказывал в своей статье Карамзин, – делает людей великими благодетелями и великими преступниками». В 1821 году историк в письмах к Малиновскому (Погодин: Н.М. Карамзин, ч. II, 266–267) оживленно говорит о своей работе: «Я теперь весь в Годунове: вот характер исторически трагический (о временах Годунова), хочется отделать его цельно, не отрывком». Борис – несомненный убийца Дмитрия; неслыханным злодеянием он достиг престола; но кара свыше не принесла ему желаемого счастья, несмотря на все его благодеяния. «Он не *был*, но *бывал* тираном; не безумствовал, но злодействовал подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил Державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия, почти неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на театр сонм мстителей и самозванцев истреблением древнего племени Царевого?» Таков вывод историка в конце 2-й главы XI тома. Этот вывод со всеми подробностями был принят Пушкиным для его «Драматической повести («Начинаем повесть, – говорит Карамзин о Самозванце, – равно истинную и невероятную», изд. 1843 г. III кн., XI т., стр. 73), комедии о настоящей беде Москов. госуд. О царе Борисе и о Гришке Отрепьеве», напечатанной под простым заглавием: «Борис Годунов» 1825 г.». Окончив драму, Пушкин хотел посвятить ее Жуковскому, которому писал: «Отче, в руке твои предаю дух мой!.. трагедия моя идет, и думаю к зиме (от 17 августа 1825 г.) ее кончить, вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти два последние тома Карамзина! Какая жизнь!» И Пушкин, по смерти историка, выпустил «Бориса Годунова» с посвящением: «Драгоценной для России памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд именем его вдохновенный с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин». Мы бы могли указать отступления от «Истории» Карамзина, происшедшие, по всей вероятности, оттого, что Пушкин держал в памяти столь резко очерченные историком характеры лиц, названия их, которыми поэт распоряжался иногда произвольно (например, летописец Пимен – вероятно, то же лицо, что у Карамзина спутник Григория к Луевым горам, инок Днепров монастыря, Пимен, XI т., 75 стр., изд. Эйнерлинга), как и годами (по словам Пимена, у Пушкина, убитый царевич был 7 или 12 лет, а по Карамзину – 9). Но чаще повторяются у Пушкина самые выражения из «Истории» Карамзина: «Ударили в набат, бегут, царица мать в беспамятстве, безбожную предательницу – мамку» (см. т. X, стр. 78); или «ах, он сосуд дьявольский, этака ересь» (XI т., стр. 74) и др.

«История» Карамзина действительно и до сих пор дает много подробностей, так как историк, пользуясь массой источников и пособий, не упускал ни общего хода событий, ни частных. Поэтому Пушкин и мог сказать, что «Карамзину (он) следовал в светлом развитии происшествий». Примечания Карамзина возбуждали любопытство Пушкина для самостоятельных изучений летописи, записок иностранцев. «В летописях старался, – говорит Пушкин, – угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени». Мало того, Пушкин обращался и к древнерусской литературе и народной словесности (в Михайловском он записывал народные песни и сказки). «Одна просьба, моя прелесть! – пишет поэт Жуковскому в августе 1825 года, – нельзя ли мне доставить или жизнь Железного Колпака, или жизнь какого-нибудь юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьи-Минеях. А мне бы очень нужно» (VII, 150).

И действительно, в содержании в языке трагедии Пушкина сказывается влияние разных источников. Прежде всего со стороны языка мы видим несколько образцов: царь, патриарх, игумен говорят как бы слогом грамот с церковнославянскими выражениями. Рассказ Пимена об Иоанне Грозном, патриарха об исцелении слепого как будто навеяны русскими памятниками письменности XVI века. Но речь бояр, Самозванца, Марины – обыкновенная литера-

турная речь. Народный элемент с пословицами и комическими славянизмами вложен в уста бродячих иноков. Как будто Пушкин читал старые драматические произведения XVII века с их интерлюдиями и фарсами. Кутейкин Фонвизина – слабый намек на речь старцев, полную житейской правды, быть может, подслушанную поэтом среди народа. Картина времени дополняется иностранной речью Маржерета и др. Можно сказать, что Пушкин впервые открыл для трагедии московскую речь XVI–XVII веков. Скажем более, он упразднил сочинительство исторических поэм, повестей, драм в стиле писателей XVIII века и даже – Карамзина. Мы не видим у Пушкина особенностей речи великого историка, связывающих его с патриотическими драматургами XVIII века и начала XIX: «Россияне, оные, сей», периодической речи со сказуемыми на конце предложений – даже в патетических речах деятелей допетровского времени. Только иностранцы Пушкина обязаны всецело влиянию Карамзина. В его «Истории» до сих пор ничто так не поражает, как большое внимание к русской политике с Англией, Германией, что объясняется живыми впечатлениями историка-путешественника. Прибавим начитанность Карамзина в иностранных историках (Юм и др.), и мы поймем искреннее и глубокое благоговение Пушкина к памяти Карамзина, выразившееся в посвящении «Бориса Годунова». Не забудем еще, что, несмотря на склад общей речи, в изложении Карамзина часто попадаются самые типичные выражения источников. Пушкин нашел новую меру для воспроизведения старой русской речи, и это не было замечено его критиками. Однако давно уже понравились образы летописца Пимена, царя Бориса, бродяг, чернецов и пр.

Карамзин и Жуковский освободили Пушкина из деревенского заточения. Поэт получил доступ в столицы и стал двигаться с трудом и большими препятствиями по той же дороге, какой шли его покровители: Карамзин и Жуковский. Еще смущаемый прошлым («Я вижу в праздности, в неистовых пирах, В безумстве гибельной свободы, В неволе, в бедности, в чужих степях Мои утраченные годы»), еще не определивший своего главного влечения и занятый страстью к московской красавице Гончаровой, поэт совершает поездки по России и на Кавказ, пока наконец не обращается в женатого человека – придворного историографа, как Жуковский, шедший прямой дорогой придворного педагога и поэта. Страстный поэт пел теперь как соловей над розой:

Исполнились мои желанья. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец (II, 96).

Первое лето своей женатой жизни Пушкин провел с Жуковским в Царском Селе. И далее поэты продолжали поддерживать самую тесную дружбу. Жуковский, взирая на счастье Пушкина, ожил в своей поэзии. Вместо занятий педагогикой и переводов для немногих он дал «Сида» и целый ряд переводов из Шиллера, Уланда, и др. «Сказки», написанные Жуковским в Царском Селе, близ молодых – Пушкиных, отличаются игривостью, естественностью рассказа и художественностью народного языка, прелестью описаний:

Подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;
Все в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем
Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник – и все как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно.

(«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване Царевиче...»).

Жуковский, как никогда, более приблизился в этих сказках к народной поэзии, к народному языку. Пушкин превзошел Жуковского большей опытностью в изображении действительных явлений народной жизни. Перед нами два поэта: один – идеалист, почти в стиле народной сказки, развивающейся из неведомой дали и старины, с ее небывалыми утехами; другой поэт – реалист, видящий насквозь сословные отношения и полный иронии народного же скомороха, певца. До чего мог доходить Пушкин в изображении народных сюжетов, можно судить из пьес, вроде «Сват Иван, как пить мы станем», «Гусар», «Русалка», «Песни западных славян».

Жуковский выступил рядом с Пушкиным переводами и замыслами крупных произведений. Все это отвлекает мало-помалу Жуковского на Запад, в Европу; между тем как Пушкин, окончив «Евгения Онегина», отдается занятиям русской истории и создает «Историю Пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку», материалы для времени Петра Великого и «Полтаву», «Медный всадник». Победа ученика Пушкина над учителем Жуковским выражается в целом ряде «Повестей Белкина», которыми Пушкин создает новый русский роман. Какой шаг после «Бедной Лизы» Карамзина или «Марьиной рощи» Жуковского!

Жуковский для Пушкина продолжал быть идеалом в жизни: их соединяли узы помощи молодым и несчастным литераторам. Гоголь, Кольцов, Баратынский были пригеты вниманием и любовью великих поэтов. Рано Пушкин стал задумываться о преемниках в области литературы:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь.

Карамзина уже не было; Батюшков и Гнедич не существовали; Крылов и Жуковский жили прежней славой, и Пушкин чувствовал по временам одиночество. Такова лицейская годовщина 1836 года.

Пушкин искал работы и нашел ее в издании «Современника» (литературного журнала в Петербурге) 1836 года. В четырех книжках, вышедших при жизни поэта, появились его капитальные произведения, как «Капитанская дочка», «Пир Петра Великого», «Скупой рыцарь». Жуковский, Гоголь, Кольцов, кн. Вяземский, Тютчев явились сотрудниками Пушкина.

Посвящая следующую главу разбору произведений Пушкина, мы заключим обзор предшественников его стихами, принадлежащими Жуковскому, свидетелю последних мучительных дней и смерти поэта:

Он лежал без движенья, как будто по тяжелой работе
Руки свои опустив; голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилось мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что то сбывалось над ним; и спросить мне хотелось: что видишь?

(Стихотворения Жуковского 1895 г., III, 135).

II

Наш очерк был бы неполон, если бы мы не коснулись хотя некоторых выдающихся произведений А.С. Пушкина, чтобы определить его значение в истории русской литературы, его развитие в занимающей нас области национальных сюжетов, народного быта и народной истории. Мы не будем возвращаться к произведениям, рассмотренным более или менее полно в предшествующей главе, и остановимся только на нескольких группах русских поэм, повестей, лирических произведений Пушкина.

Пушкин явился в русской литературе, как новый поэт, певцом «Руслана и Людмилы» 1820 года. Мы знаем тесную связь этой поэмы с прошлой русской литературой: с ее ложноклассическими образцами (поэт хорошо знал и европейские выдающиеся образцы), с ее историческими и народными изучениями. Поэт не мог еще внести в это юношеское произведение большого внимания к летописям, к былинам, в средневековым народным поэмам.

Но новые приемы Жуковского, советы и труды Карамзина, светлый взгляд на прошлое Древней Руси, свежесть и простота юношеских порывов молодого автора, вложенные в витязей Руси Владимира стольнокиевского, положили прочные основы для дальнейшего литературного развития поэта. Исторические сюжеты «Полтавы», «Бориса Годунова», не говоря уже о времени Петра Великого и Екатерины II, развиты Пушкиным основательнее, естественнее, но здесь под рукой поэта были определенные осязательные пособия, легкая выработанная манера изложения. Однако «Полтавой» поэт не был доволен. Отсюда множество мелких и крупных произведений, вращающихся около личности Петра Великого. Пушкин не возвращался ко временам Владимира Киевского и уходил в современность и ближайшие эпохи. Чтобы разгадать такую отдаленную старину, необходимо было понять воззрения народа с языческой эпохи, воззрения христиан русских отдаленнейшего времени. И вот поэт берет языческого князя Олега как представителя более очерченного, более выступающего из глубины русской древности, героем своих баллад: «Песнь о Вещем Олеге», «Олегов щит». Он пытается вместе с «Олегом» создать поэму и драму из времени Владимира Киевского или Великого Новгорода времен Юрия и Гостомысла.

То, что дошло до нас в виде программ и отрывков (II, 314–321), до сих пор остается недоступным для художественного воспроизведения. Поэт доходил уже до древнейших представлений язычников варягов и славян, с их морской жизнью, употреблением кремней, с обстановкой, как будто взятой из «Калевалы». Пушкин начертывал бытовые картины обрядов тризны, свадебного пира (прекрасно развитого в «Руслане»). Какой неисчерпаемый талант и как не правы те суждения об упадке его таланта в 30-х годах, какие раздавались из уст современников и даже последующих биографов поэта! «Песнь о полку Игореве» служила предметом изучения Пушкина; но полемика Каченовского, скептиков отталкивала и запутывала вопросы русской древности. Русскому Вальтеру Скотту не было возможности опереться на симпатии к какому-либо прошлому: в волнующихся, безграничных рамках русской истории с ее быющими в глаза несчастьями и удачами – более военного, чем гражданского преуспевания, более духовного, чем житейского культурного развития, – трудно было выбрать предмет для воспроизведения, всем одинаково дорогой, всем равно сродный. Оттого «Борис Годунов», как и «Полтава», отчасти не были поняты, отчасти не удалась.

Мы говорили о «Борисе Годунове» и должны хотя несколько слов посвятить «Полтаве» 1828 года. Поэма была написана быстро, в две октябрьские недели, под впечатлением нескольких строк «Войнаровского», но она была выношена поэтом из чтения Байрона на юге, из пребывания в Бендерах, где поэт еще в 1824 году отыскивал могилу Мазепы, из воспоминаний о

Киеве. Быстро написанная поэма вылилась из-под пера Пушкина без подробностей быта, нравов, больше как историческая картина и драматическая хроника, однако верная по изображению природы и человеческого сердца. В ней нет тех материалов, которые послужили Гоголю для создания «Тараса Бульбы». «Полтава» написана так же сильно, как небольшие пьесы Пушкина, относятся к личности Петра Великого, как поэмы Кавказа и Крыма, с которыми «Полтава» стоит в большей связи, чем с «Цыганами». Мы понимаем теперь, почему поэт мог написать «Полтаву» в две недели. В Мазепе он увидел такое же замечательное лицо эпохи Петра Великого, какие он выносил, создавая «Бориса Годунова». Малороссия «смутной поры» представляла такие же характеры, как время Годунова и Самозванца. Несчастливая семья Кочубея, сделавшегося страдальцем из мести, коварство честолюбивого гетмана-изменника, движение Карла XII – все эти напасти, бедствия, победы, оставившие кровавый след, отвечали исчезнувшему времени Годунова и Лжедмитрия. Не в них, а «в гражданстве Северной державы» поэт видел свой идеал и, естественно, с простотой народного поэта воспел победу Петра Великого. Эти народные черты отражаются в повторениях о красоте украинской ночи, в сравнениях битвы с пахарем, войны с грозой, отражающейся в очах Петра. Мысль поэта об отношении этих событий как будто сказывается в соответствии заключения поэмы о Малороссии 1828 года («Прошло сто лет – и что ж осталось») и вступлением к «петербургской повести – Медный Всадник» 1833 года.

Прошло сто лет – и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат,
Вознесся пышно, горделиво.

Местные черты «Полтавы», как в «Гусаре» 1833 года (в котором даже речь народа вошла в произведение русского поэта: «эге! галушки, хлопец, дурень, чернобривой»), выступают не резко, но все-таки не в таких неопределенных чертах, как в «Руслане и Людмиле»⁶, чудесный «Пролог» к которому Пушкин написал в 1828 году и в котором только и отмечены «туманы над Днепром глубоким» и «пред ним уже днепровские волны в знакомых пажитях шумят; уж видит златоверхий град». В «Полтаве» почти все проникнуто местными красками: киевские высоты, сады с тополями, замки, хутора, синий Днепр, пан гетман, сердюки, долгогривые кони, погони, грабежи и кровавые сцены и рядом «моление ликов громогласных за упокой души несчастных». В 1835 году Пушкин развил «Пир Петра Великого», начертанный в «Полтаве», в другую картину:

Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?
Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь —
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Нет, он с подданным мирится;
...И раздался в честь науки
Песен хор и пушек гром...
И прощенье торжествует,

⁶ Вот общие черты первой поэмы Пушкина с «Полтавой»: «На встречу утренним лучам» (II, 233); «То был Руслан. Как Божий гром» (272); ср. описание битвы киевлян с печенегами (271). Связь «Руслана и Людмилы» с летописями отмечена автором: «Монах, который сохранил потомству верное преданье о славном витязе моем» (II, 266).

Как победу над врагом (II, 178–179).

Итак, Петр Великий и Полтавский бой заслонили от Пушкина подробности внутренней жизни старой Малороссии XVII–XVIII веков. Поэтому в ней нет той глубины бытового содержания, как в «Бахчисарайском фонтане» и в «Цыганах»: отсутствуют народные песни (ср. татарскую песню, молдавскую, сколько в них правды и как бесцветны слова о слепом украинском певце с песнями о грешной деве или имени старого Дорошенки, молодого Самойловича), школьные типы, хотя в обрисовке казачества много жизни и движения.

От исторических поэм обратимся к поэме-роману Пушкина, занимавшему его в течение 20-х годов, произведения, выдающемуся и из творений Пушкина, и из произведений русской литературы. В «Евгении Онегине» Пушкин нашел прочную почву для своего творчества. Для современников это было целое открытие: недоступный круг великосветской жизни и типов открывался для читателей других классов общества; разочарованным передовым людям или самодовольным представителям высшего общества указывались их больные места. Поэт открывал множество бытовых и исторических картин и образов в русской жизни: деревня и Москва, петербургский свет и русские геттингенцы, москвичи в гарольдовом плаще, беспечная жизнь с удовольствиями изо дня в день и кровавые драмы с дуэлями, тяжелые драмы в жизни безупречной русской женщины большого света, отсутствие примиряющей среды в общих радостях или в общей горе. Здесь нет места задушевному лицейскому годовщину, которые бы соединяли питомцев старого Московского университета, не говоря уже о только что возникших высших заведениях при Александре I; здесь нет речи об интересах дворянства, над которыми задумывался поэт в «Медном всаднике», в «Родословной». Поэт успокаивается на общих красивых картинах города, веселья крестьянских простых детей на зимних катках – дорогах, веселья деревенских святок, на отношениях деревенской барышни и няни. Здесь самая обыкновенная жизнь русского дворянского семейства в разных его типах, доступного, не гордого, может быть, оттого, что мы не видим в романе отношений к другим классам. Это действительно предания русского семейства: все действующие лица связаны только личными отношениями. И эти личные отношения как будто стоят вразрез с мечтаниями молодых героев: о легком оброке, о музах, о свободной любви. Поэт стоит выше и старой и новой России в ее представителях. Это первые серьезные думы Пушкина о русском обществе. Он вводит в роман и свои личные впечатления, раздумья, увлечения. Его герои – живые лица современности: для них время Наполеона уже прошлое. Онегин вступает в жизнь, когда уже умолкли военные бури. Альбом Онегина, сохранившийся в черновых бумагах поэта, отразившийся в его жизни, современен созданию самого романа, 1822–1823 годов. И в нем действительно отразились черты того времени, хотя бы в следующих заметках поэта:

I глава:

А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.

II глава:

Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый...
Как часто в детстве я играл
Его очаковской медалью.

III глава:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С «Благонамеренным» в руках.

IV глава:

В избушке, распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучина перед ней.

V глава:

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны...
.....
По старине торжествовали
В их досуг эти вечера.
.....
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней...
.....
Татьяна, по совету няни,
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бане
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно вдруг Татьяне...
И я – при мысли о Светлане
Мне стало страшно.

VI глава:

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.

VII глава:

Вот это барский кабинет:
Здесь почивал он, кофей кушал
Прикащика доклады слушал,
И книжку поутру читал...

.....
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугуновой
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками сжатыми крестом...

.....
И старый барин здесь жывал.
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дураки.
Дай Бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать земле сырой!

.....
У Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.

.....
Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят...
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

VIII глава:

Чем ныне явится?
Мельмотом, Космополитом, патриотом,
Гарольдом, квакером, ханжой
Иль маской щегольнет иной?
Иль просто будет добрый малый...

.....
Стал вновь читать он без разбора:
Прочел он Гиббона, Руссо,
Манзони, Гердера, Шамфора,
Madame de Staël, Биша, Тиссо,
Прочел скептического Беля,
Прочел творенья Фонтенеля,
Прочел из наших кой-кого,
Не отвергая ничего:
И альманахи, и журналы,
Где поученья нам твердят.

В «Евгении Онегине» отразился и путь развития самого поэта, выраженный им в известном поэтическом противоположении «тревог прошлых лет» с безымянными страданиями, с

высокопарными мечтами иным родным картинам (III, 408–409). Как хороши эти отрывки «из путешествия Онегина», не вошедшие в великолепное художественное целое романа. Если не сжимать содержания его в голую фабулу, в оценку действий героев, – если читать его, вникая в каждую картину, в каждое выражение, то невольно поражаешься вновь открываемыми красотами «Евгения Онегина»: сжатой живописью природы, движений чувства в молодых героях (особенно Татьяны), деревенской тишины и оживленного шума гостей – разнообразных, типичных. Уже по «Евгению Онегину» можно судить о силе таланта Пушкина: ему были равно доступны в высшей степени и описания, и выражения чувств, и драматические изображения: трагические и комические (до нас дошли случайные наброски комедии). Мы приведем несколько картин природы бесподобных и в отдельности, и еще более – в гармонии с настроениями героев романа:

Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснее. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро; встали все давно...
.....
Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены...
.....
Был вечерь. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Уж расходились хороводы.
Уж за рекой, дымясь, пылал
Огонь рыбачий. В поле чистом,
Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна;
Шла, шла... И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рошу под холмом
И сад над светлою рекою.

Эти частности, их поразительная верность (например, бесподобная песня девушек или изображения адских привидений во сне Татьяны), их разнообразие, от столичного света до трактира на проселочной дороге, задушевность в их описании сообщают «роману в стихах» Пушкина значение единственного в истории русской литературы произведения, не превзойденного никем из русских писателей. «Граф Нулин» 1825 года и «Домик в Коломне» 1830 года писаны одновременно и совершенно в стиле «Евгения Онегина». Поэт скромно назы-

вает «Нулина» сказкой, как Дмитриев «верную жену» в «Причуднице»; а «Домик в Коломне» и начинает сказочным приемом:

Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой.

Известна чудная отделка стиха, языка этого игривого рассказа с моралью, в котором, однако, рассыпано столько глубоких определений, выражений, сделавшихся обыденными украшениями нашей родной речи, как из стихов «Евгения Онегина» и других произведений величайшего русского поэта, столько же сильного в мелодии русского слова, сколько глубокого в размышлении, в чувствах.

К повестям и романам в стихах относится «Петербургская повесть – Медный Всадник» 1833 года. Мы говорили уже об ее исторических отношениях. Добавим, что Пушкин хотел не только прославить Петра, выразить свою любовь к Петрограду; но и затронуть вопрос о столичном гражданине – «герое смиренной повести», несмотря на свою родословную, которой посвящен «отрывок из сатирической поэмы» 1833 года. Здесь мы имеем дело опять-таки с художественной работой поэта над вопросами, которые не поддавались открытому решению и составляли предмет размышлений, набросанных Пушкиным в черновых заметках, в журнальных статьях. Поэт не мог их популяризировать, давать им воплощения, так как эти вопросы не составляли общих убеждений, не касались тех слоев, которые были далеки от обездоленных, несчастных по личной судьбе, как герой «Медного всадника», лишившийся всего дорогого в жизни, выброшенный на улицу, обезумевший от перенесенных впечатлений ужаса, отчаяния и утрат. Только такой «родов униженных обломков» мог почувствовать ужас «пред горделивым истуканом» и «злобно угрожать державцу полумира». Несчастный после своих дерзких слов уже со страхом и сердечным смятением пробирался сторонкой:

Картуз изношенный снимал.

Сам поэт, восхищенный памятником или, как будто сам герой его, раздумывающий в минуту страшного прояснения мысли, заключает о роковой воле Петра Великого; и эти мысли все более овладевали самим Пушкиным при изучении эпохи и личности Петра I по архивным материалам:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?

Вот образчик глубоких раздумий поэта над судьбами родины, и сколько таких исторических и современных поэту наблюдений заключается в его бессмертных творениях! Их можно судить за неполноту выражения, за неоконченность отделки, за бледность типов и событий; но едва ли можно голословно отрицать блестящие замечания, отделанные, как драгоценные камни, в оправу родного слова. А эта оправка давно уже признана критиками Пушкина всех оттенков бесподобной.

Переходим к прозаическим повестям и романам Пушкина. С 1830 г. он написал целый ряд повестей под названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.», «Капитанскую дочку» 1833 года. Но еще в 1827 году Пушкин задумал написать исторический роман из семейных преданий и времен Петра Великого, от которого до нас дошел неоконченный отрывок под названием «Арап Петра Великого». Уже здесь видна манера поэта входить в дух, нравы и даже самые выражения времени. Как будто автор напился складом мысли и выражений Кантемира или записок времени Петра I. Некоторые подробности, во вкусе бесцеремонных выражений литературы XVII–XVIII веков, не портят впечатления от правдивого во всех отношениях рассказа Пушкина о необыкновенной любви арапа, опять-таки во вкусе романов с приключениями XVII–XVIII веков. Общий колорит, однако, сглажен симпатиями поэта: к занятиям науками, к истории Петербурга и к сердцу человеческому, которому поэт доверял на всех ступенях человеческой культуры, не отказывая в добрых движениях ни людям прошлых веков, ни диким инородцам.

Кто-то выразился, что в произведениях Пушкина заключается как бы энциклопедия русской жизни. «Повести Белкина» служат именно подтверждением этого необыкновенно широкого утверждения расположенного к Пушкину критика. И это верно даже в отношении к современной Пушкину эпохе. «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Пиковая дама» изображают высшее светское общество. «Сказки о рыбаке и рыбке», «О Балде», баллады «Утопленник», «Зимняя дорога», «Гусар», «Жених», «Сват Иван», не говоря о частных упоминаниях в больших произведениях (няня, девушки в «Евгении Онегине», мельник и дочь в «Русалке» и др.), касаются простого народа, его верований, быта и отношения к другим классам. «Домик в Коломне», «Медный всадник» и особенно «Повести Белкина» набрасывают целый ряд тех картин из жизни среднего класса людей – мелких купцов, дворян, чиновников, горожан, которых с отрицательной стороны вывел Гоголь. Пушкин, ограничивавший сатиру трезвым взглядом на положительные стороны действительности, соединенные чаще всего с беспокойством совести, с тревогами сердца, даже с трагизмом, сдержанно, как будто сухо, в небольших рассказах умел дать много опытов новой русской повести из жизни этих людей. Это как будто исповеди чиновников, военных, приказчиков, девиц, собранные и изложенные добродушным «покойным И.П. Белкиным», молодым дворянином способным, по незначительности образования, при добром сердце и неопытности в хозяйственных делах, излагать «истории». Какая противоположность с автором почти во всех типах, выведенных им! Перед нами проходят: дуэлист Сильвио, кончающий жизнь в рядах этеристов, богатый гусар Минский, увезший красивую простушку – дочь станционного смотрителя, барышня, пострадавшая от романической свадьбы побегом в метель, эксцентричная барышня Лиза Муромская. Все это соединено с тяжелым горем, со страданиями, пережитыми героями, затянутыми в жизнь привязанностей и страстей. Впрочем, для большинства героев Пушкина все кончается счастливо: минутные горести, вспышки превращаются в удачу, в счастливый исход. Перед нами развивается как будто болезнь любовной страсти. Однако отец счастливой Дуняши – простой станционный смотритель – делается жертвой своей единственной горячей привязанности к дочери, покинувшей случайно отца. И в «Повестях Белкина», как мы уже мельком заметили, Пушкин не забыл своих предшественников, отмечая свое отношение к ним выбором эпиграфов, ссылками на их сочинения (например, на «Наталью боярскую дочь» Карамзина): «Метель» связана и содержанием со «Светланой» Жуковского, «Гробовщик» – с одами Державина на смерть знакомых и знатных. В последнем рассказе Пушкин имеет в виду уже «нынешних романистов», между прочим Погорельского, который в своей повести «Почтальон» ввел элемент фантастичности. У Пушкина в «Гробовщике» фантастика является во сне, как и в «Евгении Онегине» (сон Татьяны). Если в Наречном и в Погорельском признают предшественников Гоголя, то Пушкин едва ли не учитель великого романиста, имя которого едва ли можно разделять от нашего поэта. Скажем более, изучение повестей Пушкина должно лежать в основе изучения целой школы великих романи-

стов недавнего времени, что было и заявлено отошедшими уже романистами Тургеневым и Гончаровым. Но мы не останавливаемся здесь на значении Пушкина как «учителя».

В чем же талант Пушкина повествователя, романиста? Перед нами небольшие пьесы, так же отделанные, как стихотворные баллады, поэмы. Но стиль их, стиль «смирненной прозы» – ровный, точный, деловой. Предметы и природа описываются с большей точностью, чем в стихах: эпитеты естественны, наблюдательности предоставлено свободное поле. Разговоры действующих лиц и письма вполне передают как особенности речи горожан, так и сельчан – «крестьянское наречие» (IV, 79 и 82). Рассказ ведется то от лица проезжего, то с личными заметками (о деревенской скуке IV, 41; о побеге из Москвы в Петербург в 1810 году и в Псковскую губернию в 1816 году, IV, 65), то с упоминаниями о крупных политических событиях в жизни государства (45, 52, 55). Последние все относятся к военным событиям Наполеоновских войн и освобождения Греции.

«История села Горюхина» относится также к «Повестям Белкина». В предисловии выступает снова старомодный литератор, выучившийся писать по Письмовнику Курганова, побывавший в немецком пансионе, переписывавший тетради стихов, ходившие между полковыми товарищами, читавший журналы и благоговевший перед литераторами. Белкин пытался изобразить Рюрика героем поэмы, трагедии, баллады и сладил только с надписью к портрету Рюрика. Перейдя к прозе, он силился переложить анекдоты в повести и после неудачи остановился на истории села Горюхина. Такова история «Домика в Коломне» в прозе – в приложении к обществу. К сожалению, до нас дошел отрывок, может быть, – нечто, вроде программы; если только это не пародия на «Русскую историю» Карамзина, как думают некоторые. Однако позволено указать одну еще черту, не лишенную интереса для объяснения «Истории села Горюхина». Кто знает провинцию и ее интересы старого времени в кругу грамотного и среднего достаточного сословия, тот знает, конечно, любителей записок, заметок, начиная от летописных до «лавочничьих», или записей изустных преданий. Если бы этот сатирический опыт «Истории» был продолжен Пушкиным, то он представил бы живые типы крестьян и других обитателей села.

Вопрос о распространенности русской литературы, о вкусах разных классов русских читателей занимал Пушкина. Мы видели, что он был невысокого мнения об этой начитанности и об умственных интересах русских читателей и читательниц в особенности. В «Рославле» 1831 года, написанном от лица одной знатной дамы, встречаемся с целым очерком русской литературы, которую знатные дамы 1811 года, т. е. года особенного патриотизма с «Беседой любителей русского слова» Шишкова, совершенно не знали, предпочитая французскую, английскую и изредка – немецкую. Пушкин указывает бедность русской литературы (несколько отличных поэтов и в прозе одна «История» Карамзина) и зависимость ее от иностранной. Но войны Наполеона и особенно Отечественная война произвели внутреннее изменение вкусов высшего русского общества: успех «Истории» Карамзина был подготовлен. И это изменение, в лице княжны Полины – с характером, рисует Пушкин: из космополитки явилась патриотка. Опять маленькая картинка – предшественница «Войны и мира» Л.Н. Толстого.

По всей вероятности, работы над «Историей Пугачевского бунта», «Капитанской дочкой» и над «Дубровским» 1832 г. совершались Пушкиным в одно время. «Дубровский» является вполне законченным произведением, хотя великий художник не успел отделать его для печати, что видно из письма Пушкина 1832 года: «Честь имею объявить, что первый том Островского⁷ кончен и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение... я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого протерпел другие две недели, так что не брался за перо и не мог связать две мысли в голове» (VII, 311). Связь с «Капитанской дочкой» проявляется в «Дубровском» как во времени (XVIII век), так и в месте действия (Волга и прилегающие губернии) и в приключениях героя (разбойничьи шайки).

⁷ Первоначально Пушкин своего героя называл Островским. – *Примеч. ред.*

Герой, в самом деле, необычный романический герой, изображен в старых условиях дворянского и народного быта XVIII века. Характеры, обстановка, местности изображены живо. Старый Дубровский и старик Троекуров истые представители дворянской спеси, умевшей отстаивать свою честь даже в бедности. Страстные характеры, воспитанные войной и военной службой, суровые и смелые, с привычками к старинным потехам (медвежья травля), к охоте, к обедам; и рядом – новые люди, вроде селадона жениха князя с его англоманскими затеями, оживлявшими заморскими потехами уединенные глухие поместья, что-то вроде египетских пирамид для крепостных, работавших в этих подражаниях европейским замкам. Ненормальные явления этой жизни создавали и такую молодежь, как «славный разбойник» Дубровский из гвардейских офицеров, и целое село воровских людей. Героиня – опять русская образованная барышня с характером Татьяны. Живопись местностей отличается общими свойствами пушкинской манеры: «Князь подвел гостей к овну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами; по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля; несколько деревень оживляли окрестность» (IV, 165). Мы не знаем повторений у русских романистов таких, например, картин, как следующая: «Луна сияла; сельская ночь была тиха; изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду» (167). Это прием поэта «Полтавы», «Евгения Онегина», поэта, который обладал могучим, всесторонним, поразительным талантом.

Еще скажем о «Русалке» 1832 года, но только как о произведении, завершающем опыты Пушкина в воспроизведении народного быта, народной истории. Мелкие черты связывают это глубоко продуманное произведение Пушкина с повестью Карамзина «Наталья боярская дочь», например, в первой сцене дочь мельника собирается идти за князем на войну, «переодевшись мальчиком» (III, 461). Сцены «Русалки» не носят определенных черт местности и времени, хотя и связаны с берегами Днепра (может быть, северного, ближе к великорусскому населению) и с русской княжеской стариной среднего периода (московского, литовского). Но сколько в них бытовой и исторической правды, начиная с языка – с приметами книжной речи (актовой, летописной) и еще более – народной песенной. Вообще приемы изложения напоминают перо автора «Бориса Годунова», «Жениха» и известного ряда бытовых картин из русского народного быта и истории. Характеры лиц очерчены необыкновенно выразительно: энергичные выражения простонародной красавицы, особенно в минуты страсти и ревности, исполнены такой же силы, как и нежные выражения ее о самопожертвовании и любви; мельник и князь одинаково прозаичны, практичны и гибнут от нарушения их бессердечных обыденных расчетов. Сцены свадьбы и видений русалок не воспроизведены еще никем в нашей словесности в такой мере глубокого проникновения в народную душу, если не считать известных описательных сцен народных обрядов и поверий в драмах и повестях художников-этнографов. Вообще говоря, «Русалка» Пушкина – это бесподобный образец художественного изложения народной истории и быта. Только другой славянский поэт умел так же рисовать народные поверья, народную жизнь, как Пушкин, – и это, не называя его имени, был современник и друг (одно время) Пушкина. Оставляя в стороне разницу в их настроениях, нельзя не видеть одинаковых стремлений найти правду, красоту и мир в отношениях прошлого и настоящего, высокого по положению и низкого в жизни родственных племен. В конце концов, отбрасывая тяжелые материальные давления (насуточных ежедневных потребностей, роскоши, боязни за средства и пр.), поэты сливались в возвышенных мечтах о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. Мечтательные видения, хотя бы в рамках народных суеверий, как будто роднят народности. Это романтика, соединенная с приемами шекспировского творчества. Вот достоинства этого неоконченного произведения Пушкина, глубокого значения которого в последующей русской литературе мы не будем здесь касаться. Не останавливаясь на всех народных особенностях «Русалки», мы не можем не привести несколько примеров из

речей дочери мельника, которые очерчивают красавицу старой Руси XVI–XVII веков: «Или он зверь... иль его отравой отравили; пускай же б он с досады отрубил мне руки по локоть; пускай бы тут же он растоптал меня своим конем, отстань от нас, ты видишь: две волчихи не водятся в одном овраге... выкупить себя он думал, он мне хотел язык засеребрить, чтоб не прошла о нем худая слава и не дошла до молодой жены, змеєю он меня – не жемчугом опутал... (рвет с себя жемчуг). Так бы я разорвала тебя, змею-злодейку, проклятую разлучницу мою!» Тут нет ничего неестественного, преувеличенного для того, кто знает народные русские песни, характер русской простонародной женщины, старые дела. Поэт-лирик также силен и в изображении нежных любовных речей между князем и его возлюбленной – мельничихой. Но мы не приводим этих речей. Опускаем и обзор еще других произведений Пушкина, которые заслуживали бы внимания в ряду рассматриваемых нами сюжетов, относящихся к русской жизни и истории.

В 1833 году Пушкин после поездки в Оренбург, через Казань и Пензу, dokonчил «Капитанскую дочку». Это такое же крупное произведение поэта, как «Евгений Онегин». В области исторического русского романа «Капитанской дочке» принадлежит одно из выдающихся мест. Уже эпиграфы к отдельным главам (12) романа указывают на некоторые источники Пушкина: народные песни и песни, басни, комедии, поэмы XVIII века. Прибавим некоторое отношение героев и частностей романа к роману А. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» 1799–1801 гг. Стиль русской литературы XVIII века проглядывает в «записках» Гринева, от лица которого ведется рассказ (его воспитание, его приключения до службы). Этим же стилем объясняются размышления автора об ужасах прошлой жизни и ссылки на «старинных романистов». Главное действие романа совершается в 1772–1773 годах, и в VI главе Пушкин говорит о состоянии Оренбургской губернии, о нравах времени: «Когда вспомню, что это (судопроизводство с пыткой) случилось на моем веку и что ныне дожидя до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространения правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои (пишет Гринев; «семейственные записки» IV, 242) попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (221). Герой романа сочиняет песенку в подражание А.П. Сумарокову. Письма действующих лиц, их размышления и разговоры живо переносят в изображаемое время. Типы помещиков так же живы, как и типы военных, казаков, инородцев, крестьян. Авторская опытность, изучение источников пугачевщины, поездка в Оренбург и изучение местной жизни придают высокое образцовое значение «Капитанской дочке» в истории русской литературы. Такой поэт мог создавать только точные исторические картины. Изображение семейств Гриневых, Мироновых напоминает приемы автора «Евгения Онегина»; но не повторяются черты; и разница во времени, в сословных и местных особенностях, в речи действующих лиц выступает с наглядной очевидностью для всякого читателя. Самая романтическая история любви Петра Андреевича Гринева и Марьи Ивановны Мироновой отличается задушевностью, патриархальной русской скромностью и трогательной искренностью простого, однообразного, но деятельного и героического по необходимости и условиям времени быта русских людей средней руки. В длинной и разнообразной галерее женских типов Пушкина Марья Ивановна занимает видное место. Это героиня несчастной эпохи кровавых ужасов, любящее сердце которой изображали и древнерусские памятники литературы (так стремится помочь своему пленному мужу Ярославна XII века, Евпраксия не переживает убитого героя в XIII веке) и народные былины, в лице жены заточенного Ставра, освобождающей мужа. Миронову можно поставить рядом с образованной, светской Татьяной, с героической Наташей («Жених»), с Натальей Павловной («Граф Нулин») и др.

Изображение пугачевщины, сосредоточенное около слабой Белогорской крепости, передает с достаточной полнотой черты времени: приступ инородцев и казаков «с страшным визгом и криками» (знакомая черта воинственных приемов степняков по летописям) и вылазка солдат

с барабанным боем, предавших коменданта, встреча священником (защитником и укрывателем несчастных) победителей с колокольным звоном, прощение пленных и грабежи с пожарами, убийствами и виселицами. Пугачев, его окружающие, привычки русской вольницы и дикие нравы степняков, внутренний мятеж и воспоминания о нравах украинских людей, рассчитывающих на успех, – все это изображено Пушкиным с чувством меры и без преувеличения. В Пугачеве представлено даже много сдержанности в отношении к пленным офицерам, к Савельичу, забывающему из-за мелких интересов о собственности (барском добре), о подозрительности и вспыльчивости мятежников. Как поразительно правдива калмыцкая сказка, вложенная в рассказ мятежного Пугачева с его диким вдохновением преступника и руководителя народного возбуждения, разгула и удачи поднятого восстания. Это сказочная эпопея Разина, предводителей мелких шаяк, самозванцев. Это народная история, в которой многое оправдывается своеобразными легендами, какими-то дикими преданиями и рядом поражающими, пассивными, страдальческими периодами текущей жизни. Что касается языка и изложения романа, то достаточно привести несколько образчиков речи действующих лиц, чтобы видеть их соответствие с характерами: «Почему, думаешь ты, что жило недалече? – А потому, что ветер оттоль потянул; и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко» (разговаривают Гринев-офицер и казак Пугачев); «А, смею спросить, зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон? чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки? – Полно врать пустяки, сказала ему капитанша, ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... держи-ка руки (с мотком ниток; держал старичок офицер, подчиненный коменданта) прямее; а ты, мой батюшка, не печалься, что тебя уpekли в наше захолустье»; «А, слышь ты, Василиса Егоровна, я был занят службой: солдатушек учил (говорил капитан). – И, полно! возразила капитанша, только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь»; «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле... Ах, мой батюшка! да разве муж и жена не один дух (говорила комендантша, принимавшая непосредственное участие в наказании офицеров-дуэлистов). Иван Кузьмич! что ты зеваешь? Сейчас рассадь их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у Бога прощения да каялись перед людьми». Иван Кузьмич расхотелся, однако, с энергичной соправительницей в вопросе о пытке: «Постой, Иван Кузьмич, дай, уведу Машу куда-нибудь из дому... да и я, правду сказать, не охотница до розыска». Если в этих речах кое-что напоминает Фонвизина, то зато отличается большей цельностью, типичностью, добродушием и в одном лице показывает разнообразие человеческих движений: чувства, мысли, сердца. И «Капитанская дочка» доказывает, что Пушкин не способен был к расплывчатости, скуп на картины природы, на подмечивание всех переливов света и теней, на искусственность в задержках и развитии действий своих героев. Он быстро писал, долго обдумывал и долго отделявал свои сжатые произведения. В прозе он любил даже искусственные упражнения, вроде исторических заметок в стиле Тацита. В этом Пушкин расходился с Карамзиным, для которого разнообразные размышления и искусственные колебания чувства действующих лиц составляли предмет любимого изложения. У Пушкина все выливалось в однообразную непосредственную форму. И нигде это так не очевидно, как в лирике поэта, к которой мы теперь и обращаемся.

III

Лирика А.С. Пушкина, этот ряд блестящих стихотворений, за 23 года его литературной деятельности (с 1814 до 1837 года), представляет не только высоту художественных произведений, но и летопись времени и – личной жизни поэта. К сожалению, лирика Пушкина не дошла до нас в своей полной, непосредственной форме. За ней скрываются события времени и чуткая душа поэта, откликавшаяся, как стройный орган, как эхо, на все явления внешней

и внутренней жизни. Многое, написанное под живым впечатлением минуты, поэт берег от печати, уничтожал, сокращал, опускал намеки. Тем не менее ни у кого из русских поэтов нет столько искренности в душевной исповеди, столько глубины в оценке русской действительности, как у Пушкина. Поэт работал неустанно, запасаясь материалами для крупных произведений, доставлявших доход ему, всматриваясь в окружающую жизнь, успокаивая себя сладкозвучными стихами, подбирая рифмы, куплеты, стихи, выражения. Нашего величайшего поэта нельзя представить себе иначе, как с записной книжкой, с тетрадями. Эти черновые материалы дошли до нас: наброски, варианты, исправления вносятся во все научные и полные издания сочинения Пушкина. Как важны даже мелкие приписки к стихотворениям поэта, например, хронологические пометы, можно судить по тому, что одно и то же произведение, по-видимому, то личного, то общего характера, то говорит о любви поэта к какой-то определенной красавице, то говорит о людях, вызвавших в Пушкине сердечное сожаление своей печальной судьбой. При всей воздержности поэта в рукописных стихотворениях его сохранились горячие строки, обращенные к жестокому веку, к свободе. Перед нами проходят: победы Наполеона I, торжество России, годы, последовавшие за возвращение русских и императора Александра I из европейского похода, годы реакции и ссылка Пушкина, милость власти, переезды поэта, милость к Пушкину императора Николая I, военные движения, холерные годы, тревожные события 1831 года и сатирический голос поэта о времени и обществе 30-х годов. И личная жизнь поэта, начиная с родственных и товарищеских отношений, с годов Лицея, со вступления в жизнь света, литературы, службы до интимных отношений к красавицам, к мучительному чувству любви, к упоению ею, к раздумьям, к страданиям и смерти, к надеждам и отчаянию – все это отразилось в поэзии Пушкина. Не вымученными, не односторонними, не цельными отделанными стихами выливались и чувства и мысли Пушкина, а разнообразными, бойкими переливами мелодий грустных и торжественных, веселых и желчных, горячих до самозабвения и нежных до детской незлобивости. Уже эти свойства лирики Пушкина указывают на ее привлекательность, увеличиваемую внешними художественными достоинствами. Конечно, не все пьесы Пушкина одинакового достоинства в этом отношении, не говоря уже о постепенном развитии, постепенном усовершенствовании лирики со стороны формы, начиная с пьес 1820-х годов. Прежде чем обобщить характеристические особенности пушкинской лирики, нельзя не коснуться ее развития в хронологической последовательности, привлекая к ней и другие сродные произведения пушкинской Музы. Конечно, уже в лицейских стихотворениях Пушкина (1814–1817) встречаемся с некоторыми настроениями, чувствами и мыслями, которые повторяются и в последующих произведениях поэта. Примеры таких повторений (хотя бы в «Руслане и Людмиле» и в «Полтаве») мы приводили выше.

Прибавим еще к сказанному в первой главе резкий пример подражания Пушкина в известном раннем «Романсе» 1814 года («Под вечер осенью ненастной») Жуковскому. В 1813 году в «Вестнике Европы» Жуковский напечатал «Песню матери над колыбелью сына». Зависимость популярного полународного романа Пушкина от стихотворения Жуковского (также переводного «из Беркеня») заслуживает особенного внимания, и мы приведем здесь несколько выдержек из «Песни матери над колыбелью сына» (Стихотворения, 1896 г. т. I, стр. 308–311):

Засни дитя! спи, Ангел мой!
 Мне душу рвет твоё стenanье!
 Ужель страдать и нам с тобой?
 Ах, тяжко и одно страданье!
 Когда отец твой обольстил
 Меня любви своей мечтою...
 Навек для нас пустыня свет,
 В надежде нам пути закрыты;

Когда единственным забыты,
Нам сердца здесь родного путь;
Не нам веселие земное;
Во всей природе мы лишь двое.
Пойдем, мой сын, путем одним,
Две жертвы рока злополучны;
О, будем в мире неразлучны,
Сносней страдание двоим!

Молодой Пушкин превзошел своего учителя и в реализме: он заставил свою деву-мать грубым образом расстаться с тайным плодом любви несчастной. Как известно, ни один «народный песенник» не обходится без этого романса и пятнадцатилетнего Пушкина. Может быть, хотя отрицательно и в этом романсе поэт призывает «чувства добрые в народе»:

Мне вечный стыд – вина моя!
Закон несправедлив, ужасный,
К страданью осуждает нас...
Бледна, трепещуща, уныла,
К дверям приблизилась она,
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой.

Еще один также резкий пример повторения в «Стансах» 1829 года лицейского стихотворения «Моему Аристарху» 1815 года:

Сижу ли с добрыми друзьями,
Лежу ль в постели пуховой,
Брожу ль над тихими водами
В дубраве темной и глухой,
Задумаюсь, взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю (I, 107–108).

Так и свойство элегий Пушкина – переходить от мысли о смерти, о горе к примирению – находим в «Послании» 1816 года:

Моя стезя печальна и темна...
Мне кажется, на жизненном пиру
Один, с тоской, явлюсь я – гость угрюмый,
Явлюсь на час и одинок умру...
Нет, и в слезах сокрыто наслаждение —
И в жизни сей мне будет в утешенье
Мой скромный дар и счастье друзей (I, 130–131).

Эти элегии начинаются у молодого поэта с 1816 года. Любовные мечты посещают его «немой ночью», и «Вновь упоенный, / Пускай умру / Непробужденный», – вызывает пылкий поэт-лицеист, соединявший представления о некоторой вольности с мечтаниями любви идеальной (I, 152–153). Лицейские стихотворения Пушкина не богаты содержанием; игривое веселье среди друзей, воспевание пиров, любви, эпиграммы, мечты о предназначении к литератур-

ной деятельности, послания к поэтам, сатира в римской форме на вельмож, наконец, любовь к природе, уединению и покою – вот общее содержание этих пробных опытов молодого поэта.

Продолжая, по выходе из Лицея, свои послания к друзьям и поэтам, Пушкин стремится выразить «вольнлюбивые надежды». Это сатирическое и еще более лирическое, вдохновенное отношение к будущему «отчизны» не покидает поэта, с различными сдержками, уступками, раскаяниями до самого конца жизни. Конечно, в поэзии Пушкина заключаются только намеки на явления действительности, помимо литературных влияний, и нам необходимо хотя назвать несколько течений в русском обществе около 1820-х годов, чтобы понять послание Пушкина «К Чаадаеву» 1818 года («Пока свободою горим... Россия вспрянет ото сна»), «Орлову» 1819 года («Но не бесславишь сгоряча / Свою воинственную руку / Презренной палкой палача»), «Деревню» 1819 года («Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный / И рабство, падшее по манию царя, / И над отечеством свободы просвещенной / Взойдет ли наконец прекрасная заря?»), «Ода вольность», «На Аракчеева» 1820 года и пр. Еще в Лицее Пушкин пережил «бренные» чувства, жажду «звука мечей». Эта жажда была естественным выражением времени Наполеоновских войн; но и среди военных в Царском Селе поэт встречал людей, задумывавшихся над жизнью и историей. Таков был Чаадаев, блестящий лейб-гусар, с которым Пушкин разделял дружбу и беседы по выходе из Лицея, в Петербурге. Чаадаеву поэт обязан был смягчением своей участи в 1820 году, когда вместо тяжелой ссылки за «вольнлюбивые» стихотворения и резкие сатиры на вельмож присужден был к высылке. В послании к Чаадаеву 1821 года Пушкин так определяет свои отношения к лучшему другу: «Ты был целителем моих душевных сил; / О, неизменный друг, тебе я посвятил / И краткий век, уже испытанный судьбою, / И чувства, может быть, спасенные тобою! / Ты сердце знал мое во цвете юных дней; <...> Во глубину души вникая строгим взором, / Ты оживлял ее советом иль укором; / Твой жар воспламенял к высокому любовь; / Терпенье смелое во мне рождалось вновь; <...> С тобою вспоминать беседы прежних лет, / Младые вечера, пророческие споры, / Знакомых мертвецов живые разговоры; / Посмотрим, перечтем, посудим, побраним, / Вольнлюбивые надежды оживим» (I, 242–243). Чаадаев принадлежал к тому кругу людей, который подвергся гонению в 20-х годах, в министерство кн. Голицына. Уже в Лицее Пушкин слушал проф. Куницына, последователя Адама Смита и естественного права. Конечно, «рабство, невежество» («Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, <...> Здесь девы юные цветут / Для прихоти развратного злодея. <...> Дворовые толпы измученных рабов»), за яркие картины которого в конце XVIII века пострадал Радищев, составляли злобу дня. Любовью к деревне, к няне, к народной поэзии, к народному языку поэт выражал свои гуманные чувства. Резвая сатира начиналась обличением «барства дикого, без чувства, без закона с насильственной лозой» (206, I) и развивалась на другие явления времени, как Аракчеев, Фотий, олицетворявшие два могучих течения времени: поклонение военной силе, суровой дисциплине и – мистицизму, или, скорее, духовной борьбе. Певца «Руслана и Людмилы» в эти годы, по его собственному выражению, пленяли «любовь и тайная свобода» (I, 208). «Либерал Пушкин» дал слово Карамзину не писать сатир, эпиграмм и восхвалений вольности.

С таким обетом поэт перенесся на несколько лет на юг России в 1820 году. Южная природа, новые люди, начиная от кавказцев, крымских татар, цыган, молдаван, евреев до образованных военных, среди которых поэт встретил искренний привет, разбудили лирику Пушкина в новом направлении. Уже в Киеве и в деревне Каменке Пушкин написал несколько первых чудных элегий, как «Увы, зачем она блистает минутной нежной красотой!», «Редет облаков летучая гряда» и др. Февраль 1821 года Пушкин проводил в Киеве после объезда Кавказа и Крыма.

Здесь он отдался антологическим сюжетам классической поэзии и байроновской разочарованности. Таврида, море и любовь воспеты им в нескольких стихотворениях, и одно из

них уже знаменует новый расцвет лирики Пушкина. В Каменке Чигиринского уезда Киевской губернии поэт вспомнил «задумчивую лень» в Таврических горах:

Редет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил уснувшие во мне (I, 225).

По-видимому, Пушкин переродился. Теперь он «поклонник муз и мира, забыв молву и жизни суеты» (I, 236), готов каяться в своих желаниях, мечтах. После восторгов от природы, любви наступает период недовольства и жизнью, и собой (I, 259). Но про себя поэт сочиняет подражание Шенье «Кинжал», приветствует восстание за свободу греков и порывается на войну, подражая Байрону. Вести о смерти товарищей, знакомых вызывают в Пушкине глубокие элегические сетования. Это третья, выдающаяся черта лирики Пушкина после пафоса от вольнолюбивых надежд и любви. «Гроб юноши» 1821 года, «Элегия» – «Умолкну скоро я», «К Овидию» содержат уже горячие выражения о посмертных воспоминаниях поэта:

Но если обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать...
мой след уединенный...
К нему слетит моя признательная тень
И будет мило мне его воспоминанье (I, 260).

Прямолинейный герой «Руслан» сменился «Кавказским пленником», и в посвящении новой поэмы 1821 года Раевскому Пушкин, сливаясь с героем своей повести, говорил:

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем,
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней,
И счастье моих друзей
Мне было сладким утешеньем (II, 277).

Поэзия Пушкина приобрела теперь, по его собственным словам, «страстный язык сердца» (I, 255), раскаяние в «безумствах и страстях» прошлого. Приступая к «Евгению Онегину», поэт многое передумал. Веселость его сменилась скукой, а «либеральный бред» – благоразумием (Письма VI, 62). 1823 год открывается многозначительным стихотворением Пушкина «Телега жизни»:

С утра садимся мы в телегу;
Мы погоняем с ямщиком
И, презирая лень и негу,
Кричим: валяй по всем по трем!

Поэт представлял себе уже и полдень, и вечер жизни. Он испытал искушения злобного гения, разуверился в возвышенных чувствах, свободе, славе и любви. Он вложил в Онегина

с первой главы «резкий охлажденный ум» и провел параллели между собой и героем своего романа:

Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба...

Во II главе «Евгения Онегина» поэт, презирая людей, жизнь, преклоняясь перед смертью, ставит своей целью «звуки», которыми бы желал «печальный жребий свой прославить» (III, 279).

Теперь он достиг «сладких звуков», но еще – не молитв, хотя и писал брату в 1823 году: «Я обратился к евангельскому источнику». Но страсти, жизнь среди южного общества Кишинева и Одессы составляют преобладающе жгучий элемент лирики Пушкина:

Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю (I, 295).

Ночью темной «стихи, сливаясь и журча, текут, ручьи любви»; «боготворить не перестану тебя, мой друг, одну тебя» (I, 302).

В половине 1824 года Пушкин оставлял Одессу и юг для деревенского уединения в Псковской губернии, в селе Михайловском, куда переносил «и блеск, и тень, и говор волн». В великолепном стихотворении «К морю» поэт прощался с порывами туда, где видел «просвещение», хотя бы туда, где угасал Наполеон, где исчез властитель дум – Байрон. Какое примирение и равнодушное сознание выражает поэт в этом стихотворении:

Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Иль просвещение, иль тиран.

Уже в Михайловском в сентябре 1824 года Пушкин жалуется:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье (I, 308).

Деревенское уединение вызвало новый прилив в лирике Пушкина. От 1824 года до нас дошло несравненно более стихотворений, чем от предшествующих лет: «Разговор книгопродавца с поэтом», два «Послания к цензору», «Подражания Корану» превосходят все предыдущее по глубине мысли, по совершенству формы, по определению особенностей творчества, что так глубоко развито поэтом и в дальнейших произведениях. «Разговор поэта с книгопродавцом» напечатан при первом издании «Евгения Онегина» в 1825 году. Несмотря на замечание поэта в предисловии к этому изданию об «утомительности новейших элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочие», и о той «веселости, ознаменовавшей первый произведения автора «Руслана и Людмилы», которая вложена в первые главы «Евгения Онегина», «Разговор книгопродавца с поэтом», как предисловие в новому роману, не что иное, как элегия. Поэт называет «безумством» поклонение женщине:

Что мне до них? Теперь в глуши

Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Нечисто в них воображение,
Не понимает нас оно,
И признак Бога, вдохновение
Для них и чуждо и смешно.

Поэт, однако, верит одной; но она отвергла заклинанья, и память о ней мучит его бесплодно. Поэт не верит и в славу литератора:

Что слава? Шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Поэт любит свободу, оставляя юношам воспевать любовь, а книгопродавцам – извлекать деньги и злато из рукописей поэта. Он чувствует только, что «стишки не одна забава», что поэзия – это недуг, это шепот демона, от которых рождаются чудные грезы, гармония, пир воображения. Пушкин называет свой роман «сатирическим», и первая глава его должна была показать «светскую жизнь петербургского молодого человека в конце 1819 года». Эта сатира, как мы уже заметили, не оставляла мысли поэта и далее. Великой заслугой Пушкина следует признать соединение нападок на «Коварность» (1824 года; злобное гонение, клевета, как невидимое эхо, тайное предательство), на подозрительность цензуры в «Первом» и во «Втором послании цензору» («Когда не видишь в нем безумного разврата, Престолов, алтарей и нравов супостата») и пр. – с добрыми и возвышенными чувствами. В самом деле, если поэт ищет возвышенной чистой любви, если он мечтает о безмолвии трудов, о том, чтобы не «казнить злодеев громом вечных стрел», а создать в тиши положительный идеал жизни, то для него доступны и вера, и молитва, и милость, и смирение, и надежды в будущем. Таковы положительные мотивы лирики Пушкина с 1824 года – с «Подражания Корану». Религиозные мотивы все чаще и искреннее раздаются в этой лирике, после того как в Михайловском поэт предался чтению жития святых, Библии и других церковнославянских книг, вдохновивших его для образа летописца. В черновых набросках, современных «Подражанию Корану», находим объяснения поэта из михайловского уединения:

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный коран;
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.

В 1823 году Пушкин написал:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В поработанные бразды
Бросал живительное семя...

а в 1825 году – «Подражание Песни песней».

Однако пока Пушкин поддавался не столько этому новому настроению, сколько общему духу радости от дружбы, веры в друзей («19 октября 1825 года»), веры в народ («Зимний вечер»), в отраду чистой поэзии («Козлову»), в бессмертное святое солнце разума («Вакхическая песня»), в защиту певца от судьбы Андрея Шенье:

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть? (I, 340).

Серьезный взгляд на поэзию, на служение музам без суеты, в тиши, выражается в обширной элегии «19 октября 1825 года». Звуки жалобы – на изгнание, на невольное затворничество, на измены любви, на злобу врагов – соединяются в этом обильном лирическими произведениями 1825 году с восторгами вдохновенной любви:

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

1826 год – год освобождения Пушкина из михайловского заточения, его переезд в столицы и свидания с друзьями после шестилетнего отсутствия – отразился бедностью лирики. Но эти немногие произведения, как знаменитая «Элегия на смерть г-жи Ризнич», «Пророк», «Зимняя дорога», «Стансы (В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни)», дышат искренностью и отличаются совершенством формы:

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

И с этого времени Пушкин отдается гению Петра Великого, его любви к стране родной, его незлобию, его умению привлечь сердца.

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...

Это «душа» молодой тени, «легковерной тени»; это «милая дева», которой не слышно ни слова, ни легкого шума шагов, это заточение, куда поэт шлет утешение. Без слез (и слезы – преступление, I, 339), равнодушно из равнодушных уст поэт узнал о смерти легковерной тени. Он выразил то, что мог, в образах привычного «страстного языка сердца, мучительной любви». Тотчас же поэт обратился к образу ветхозаветного пророка:

Встань пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею Моей,
И обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Это первые пламенные стихи Пушкина в библейском стиле. Мы не будем разбирать этого произведения, которым поэт, по преданию, хотел вызвать «милость в падшим».

Религиозная поэзия нашла доступ к сердцу Пушкина, и в следующем, 1827 году он написал «Ангела», набросал молитву пловца, спасенного Провидением (II, 26):

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнце, под скалою (II, 15).

Прежние гимны выразились в «Послании в Сибирь», «19 октября 1827 года»: «Бог помочь вам, друзья мои... и в мрачных пропастях земли!...»; «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как... доходит мой свободный глас». Конечно, все это были произведения, о которых поэт говорил в «Первом послании цензору»:

И Пушкина стихи в печати не бывали —
Что нужды? их и так иные прочитали.

Поэт должен был написать записку о народном воспитании для объяснения «молодой души – молодых людей», погибших в происшествиях, сопровождавших вступление императора Николая I на престол. Пушкин вспомнил в этой записке тот круг, в котором и сам вращался до отъезда на юг: политические либеральные идеи, пасквилы на правительство, возмутительные песни, шумную праздность казарм, стеснения в образовании – и отсюда недостаток просвещения и нравственности, наконец, влияние походов за границу. Новые отношения к императору Николаю вызвали в 1828 году обращение Пушкина к «Друзьям»: он хвалит царя за милость, за освобождение мысли. Свою свободу действий, которую могли смешивать с лестью, Пушкин оправдывал свободой творчества, противоположностью «забав мира молвы, забот суетного света» – священной лире поэта.

На своей родине, в Москве, Пушкин встретил красавицу, которой отдал свое сердце. Любовь ожила в сердце поэта еще в 1828 году. И вот в течение трех лет до свадьбы на Н.Н. Гончаровой в 1831 году, несмотря на скитание по деревням, Кавказу, столицам, поэт написал множество лирических пьес. До нас дошло более 40 стихотворений за каждый отдельный год: 1828, 1829 и 1830-й. Только первые впечатления от юга и от уединения в Михайловском могли вызвать такое обилие поэтического творчества. Поэт пел, как соловей над розою (1827 года):

Но роза милая не чувствует, не внемлет.

Какое разнообразие в содержании произведений 1828 года! О легкости изложения мы уже имеем свидетельство в «Полтаве», написанной в две осенние недели. Жгучие воспоминания со стонами, со слезами об утраченных годах, о погибших милых тенях чередуются с надеждами на будущее, на мирные песни, на сладкие звуки и молитвы. Разнообразие содержания отвечает и разнообразию формы. Рядом с редкой формой басни (Любопытный, II, 56–57), сатиры в том же стиле («Собрание насекомых»), народных форм баллады «Утопленник», «Шотландской песни», «Песен Грузии» мы находим стройные стихи чудной элегии «Воспоминание», неподражаемого перевода отрывка из «Конрада Валленрода», бойких куплетов, в восемь стихов («Город пышный», «Счастлив, кто избран своенравно», «Твоих признаний», «Я думал сердце позабыло» и др.), сжатого стиля «Анчара» или простого послания к П.А. Плетневу:

Прими собранье пестрых глав,

Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных заметь.

Элегии составляют преобладающий род лирики Пушкина и следующих 1829 и 1830 годов. Есть какая-то особенная нежность к женщине в элегиях Пушкина:

Что в имени тебе моем?..
Но в день печали, в тишине
Произнеси его, тоскуя (II, 63).

Это любвеобильное сердце поэта содержит неиссякаемую жажду утешения, ободрения, разделения горести женщины, даже предупреждения ее советом, словом возвышенной души:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись...
День веселья, верь, настанет (I, 346).

Он остается другом женщины, опозоренной шумной молвой, утратившей права на честь по приговору света (II, 64). Поэт призывает эту женщину оставить душный круг, безумные забавы. Эта детская доверчивость рисуется в письмах поэта к жене, которой и в стихах, и в откровенных беседах Пушкин раскрывал все свои заблуждения, ошибки, любовные увлечения прежних лет, надеясь на искреннее прощение и верность. «Я вас любил безмолвно, безнадежно (обращается поэт в 1829 году), То робостью, то ревностью томим; Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим» (II, 63). Поэт жил любовью, пел о ней, мечтал, страдал, увлекался и создавал идеалы женщин. Он был уже «огончарован» и в дороге, по Грузии, мечтал только о будущей невесте («Мне грустно и легко; печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой!»); но находил еще столько увлечения, что останавливал свой художественный взор на «Калмычке», как ранее, на юге, идеализировал гаремных татарок, цыганок. Поэт находил в дикой красе столько же занимательного, сколько представляли светские женщины, а в кочевой кибитке столько же тихого покоя-забвения, сколько в блестящей зале или в модной ложе.

Мы уже не раз отмечали народные мотивы в поэзии Пушкина. В годы разъездов по России поэт еще более свылся с живописью, с приемами русской народной поэзии. Что такое, в самом деле, стихотворения 1829 года «Дон» («Как прославленного брата Реки знают тихий Дон. Пьют уже донские кони Арапчайскую струю»), «Делибаш» («Делибаш, не суйся к лаве – техническое казачье слово – Срежет саблю кривою / С плеч удалую башку»), «Дорожные жалобы», «Приметы», как не такие же народные мотивы? Это старые русские песни, песни военные, грустные бытовые жалобы. Мысль о смерти как будто уже все совершившего в мире поэта с необыкновенной силой выражается в «Стансах» 1829 года. Мы видели уже, что утраты друзей, недавние потрясающие события вызвали эти представления у Пушкина и соединялись то с мыслями о военных тревогах, то со случайностями переживаемой жизни (годы холеры, неудобства русских дорог). «Зимнее утро» и кавказские стихотворения дают чудные рамки для чувств поэта.

Задумывая жениться, Пушкин мечтал об определенном положении в русской журналистике. Он был участником «Литературной газеты» Дельвига и полемизировал за нее с «Север-

ной пчелой». Таково происхождение стихотворения 1830 года «Моя родословная, или Русский мещанин». Мысли об аристократизме, о значении сословий в государстве занимают с этих пор поэта. Идеалы екатерининского времени, соединенные с лицейскими воспоминаниями, с посланиями «К вельможе», с высоким представлением о поэте, с похвалой героям истории (Наполеону I за его бесстрашие не на поле брани, а среди зачумленных. «Герой», II, 122) приближают Пушкина к русской действительности и, выработав этот путь воздействия на жизнь и возможности создать прочное положение в ней, не поступаясь своими литературными занятиями, влечениями, Пушкин решается отдаться семейной жизни. Судьба Пушкина – вопрос, поднятый недавно одним из русских деятельных мыслителей, – кажется, рассматривая ее *post eventum*, вращалась около этого рокового вопроса: как создать свое счастье?

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель...
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец (II, 96).

Поэт не нашел этого простого угла и угас в страданиях с верой в другую картину:

Она с величием, Он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Патриотизм, эта народная вера, чувства дружбы и порывы «в обитель дальнюю трудов и чистых нег» охватывают поэта в 1831 году, тотчас же после женитьбы. В 1830 году Пушкин еще прощался в нескольких элегиях с увлечениями прежних лет. Веря в любовь, «в гармонию стихов», поэт готов страдать. Страдания эти вызывались смертью любимой женщины – иностранки. Уроженка Греции или Италии, она звала поэта на юге (вероятно, в Одессе) на свою родину, и весть о ее смерти возбудила чувствительную душу поэта в воспоминаниях о «Расставанье» (II, 105), к «Заклинанию» явиться и принять поцелуй, услышать клятву в любви. Трудно представить себе эту силу поэтического воображения Пушкина, с какой он вызывал образы прошлого счастья, минуты страдания и порывы примирить раннюю разлуку, раннюю смерть с любовью. В этих элегиях разгадка одной стороны душевных свойств поэта. Он воспринял с детства много простонародного, начиная с суеверий (живые отражения в «Бесах», в «Утопленнике», в «Приметах», в «Талисмане»), он вырос под живыми впечатлениями романтики и поэзии Жуковского, он много страдал от событий времени и личных неудач, и, наконец, он привык отдаваться мыслям наедине, поверять свою совесть, взвешивать свои привязанности, искать прочного и вечного в мире. Поэтому все, противоречившее этим стремлениям, возбуждало его, сотрясало его чуткую природу, искавшую поэтического покоя, гармонии, красоты, радости. Он умел ценить и упиваться такими проявлениями в природе, в жизни, в свободе мысли и чувства. Но природа, окружающие люди – только рамки для настроений поэта. Мы знаем, что поэт идеализировал простые, однообразные картины простонародной жизни и серенькой русской природы: кабак и раздолье уток молодых среди деревенской улицы, под молодым деревцем, успокаивали его чем-то родным, единственным во всем мире. Но этот же вид, среди элегий 1830 года, принимает у Пушкина совсем другой оттенок:

...избушек ряд убогий,
.....
Над ними серых туч густая полоса.

Где ж нивы светлые? Где темные леса?
Где речка?..

.....
На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок; за ним две бабы вслед;
Без шапки он; несет под мышкой гроб...

Это называется «Шалость» в ответ на подтрунивания румяного критика – насмешника. Или вот обычная физиогномия столицы того времени: «Здесь город чопорный, унылый, Здесь речи – лед, сердца – гранит» (II, 87); «Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит» (31). Прибавьте в этому «печальные поляны, глушь и снег в неведомых равнинах» – и вы поймете хандру Пушкина, его порывы к сюжетам из жизни Европы:

Я здесь, Инезилья,
Стою под окном!
Объята Севилья
И мраком и сном!

Отсюда отдыхи поэта на таких мотивах, как «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Анджело», «Скупой рыцарь» и др.

Богатая, незаурядная, чуднонастроенная натура – этот великий русский поэт:

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.

Насколько разнообразны поэтические приемы Пушкина в 1830 году, когда он принялся и за «Повести Белкина» «в смиренной прозе», можно судить по известному неподражаемому «Началу сказки» о медведихе с медвежатами.

В 1831 году Пушкин женился, и самые интимные отношения вылились на бумагу из пылкого сердца поэта: «Красавица», «Отрывок» и «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением» (1832). Народные сказки – остроумные, игривые, три оды – вот все, что мы находим у счастливого поэта. Теперь над ним сбылись его же шутки над Жуковским. Отселе до конца жизни поэта не столько развивается его лирика, сколько новая серьезная деятельность в области романа, повести, истории и журналистики. Здесь замечается вынужденность принять звание историографа, вести счета с книгопродавцами, издавать альманахи и журналы. Пушкин неутомим и на новом поприще, но лирика его бедна мотивами, и, к удивлению, повторяются элегии – и даже в усиленных столах: «Не дай мне Бог сойти с ума» (1833), «Вновь я посетил тот уголок земли» (1835), «Из Пиндемонте», «Когда за городом задумчив я брожу» (1836). Все это полно силы и в содержании, и в форме. Но странно видеть у поэта, бросившего якорь в жизненной пристани, эти звуки отчаяния, предчувствий и равнодушия в жизни. Посмотрим, однако, что находим в поэзии Пушкина рядом с этими трогательными элегиями. Преобладают

подражания иностранным поэтам: Данте, древним, Буньяну, Мицкевичу. Однако поэт не забывал и народных мотивов («Гусар» и «Сват Иван» 1833 года), и религиозных сюжетов («Когда великое свершалось торжество», «Молитва» 1836 года), воспоминаний о Лицее 1836 года. Все это производит впечатление чего-то чудного, но неоконченного, каких-то замыслов подражательного и самобытного характера. И в заключение опять итоги деятельности в «Памятнике» 1836 года и обращение к жене с мыслями о смерти, о покое, о трудах и чистых негах.

Пусть не толкуют наших слов об этом периоде развития поэтического творчества Пушкина в том смысле, что женатая жизнь поэта сдавила его вдохновение, охладила его пылкую душу, помрачила страстью его ум. Напротив, этот период характеризуется в лирике Пушкина созданием, прояснением возвышенного идеала жизни, трудов и совести. Это прежде всего «покой и воля», свобода «совести и помыслов», упоение высшими искусствами, в том числе и поэзией. Но поэзия – Божий дар, ее значение выше простого наслаждения искусством. Отсюда высокое значение и поэзии, и литературы вообще. Для развития этого дара – близкого к небесному, божественному, – требуются удаление от мирской суеты («Служенье Муз не терпит суеты; / Прекрасное должно быть величаво»), усердный труд, глубокое раздумье, внимательное изучение всего, что выработано веком в области просвещения. Погружаясь внимательным оком в свою душу, поэт, как жрец, как пророк, извлекает поучение человечеству – и не только обличение, веру; но и – призыв к любви («Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»), к милосердию, к внутреннему духу религии, в успокоении в вечности, перед которой бледнеет мысль о смерти. Поэт должен терпеливо сносить обиду, хулу и клевету, не ждать награды и не искать ее. Только внутреннее довольство взыскательного к себе художника есть высший суд, перед которым меркнет временная хвала. Поэт не творит для «черни», для окружающих людей: он верит в вечность своего дела, он верит в пользу его даже для простого селянина. Селянин этот и с ним, как перед памятником Царя-Освободителя, и финн, и тунгус одинаково воодушевляются славным русским поэтом («Близ камней вековых, проходит селянин с молитвой и со вздохом»), его нерукотворным памятником. Поэт не верил в сладкую участь громких прав (зависеть от властей, зависеть от народа – Бог с ними!) и мечтал о дальней обители трудов и чистых нег. В такой идеальной обители, по представлениям поэта, нет места ни разнузданным пирам, ни пустой трате времени, ни страху перед хранительной стражей. Поэт стремится вывести из забвения все высокое, простое, горестное и вместе, рядом с умилением перед страданием, предается радости. Вообще поэзия Пушкина отражает необыкновенное разнообразие впечатлений поэта, доступность его духовному миру самых простых человеческих чувств («Начало повести»: «В еврейской хижине лампада / В одном углу бледна горит; / Перед лампадою старик / Читает библию»), примирения со страданиями («я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»), ожидание скромных наслаждений, надежд. Вот одна из разнообразных сторон возвышенного, чистого содержания в пушкинской поэзии. Пушкин не успел развить и выразить вполне представления о значении человеческой личности, ее свободе в пределах, поставляемых внутренним голосом.

Мы не касались лирических отступлений в поэмах Пушкина, которые дополняют выражение его душевной исповеди. Припомним хоть два места из VI и VII глав Евгения Онегина: «Увял! Где жаркое волненье, / Где благородное стремленье / И чувств, и мыслей молодых, / Высоких, нежных, удалых? / Где бурные любви желанья, / И жажда знаний и труда, / И страх порока и стыда, / И вы, заветные мечтанья, / Вы, призрак жизни неземной, / Вы, сны поэзии святой!»; «Нет, поминутно видеть вас, / Повсюду следовать за вами, / Улыбку уст, движенье глаз / Ловить влюбленными глазами, / Внимать вам долго, понимать / Душой все ваше совершенство, / Пред вами в муках замирать, / Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!» Эти два места то же, что элегии Пушкина или его пылкие обращения к великосветским красавицам. В силу своего лирического настроения (пафоса) Пушкин не мог расплываться в описаниях. Картины природы, человеческих движений у него сжаты и сливаются с чувствами.

Какие бы выводы ни делали из этих случайно прерванных аккордов, они свидетельствуют об иной поре деятельности поэта, о том, что душа его не нашла «покоя и воли», что вокруг него немногие интересовались деятельностью писателя. А поэт между тем шел навстречу не только власти, но и – обществу, в лице светских красавиц, светских дам, и – молодому племени в известной элегии 1835 года:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего.
Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум.

Мы проследили развитие литературной деятельности А.С. Пушкина в области повести, поэмы и лирики и можем еще сделать несколько обобщений. Важнейшей заслугой Пушкина является возведение русского литературного языка на высшую степень совершенства. Не входя в подробности, не оценивая всего громадного значения пушкинской деятельности в области языка, мы скажем об отношении к русскому языку поэта, который был скромнее всех своих предшественников. Он нигде не останавливался на теории литературного языка, допуская свободу в его развитии. Он нигде не обращался к русскому языку как к объекту исключительного поклонения. Но несколько фраз, оброненных в различных произведениях, говорят о горячей любви поэта к русскому слову:

Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом (III, 356).

Пушкин игриво отметил в нескольких романах и повестях дамское равнодушие, дамскую невинность в родной русской словесности, в родном литературном языке. Может быть, в пылу своей любовной мечты поэт иногда с болью задумывался над теми «идолами», равнодушными к возвышенной роли русского поэта, служителя русского слова, – идолами – светскими дамами, которым в жертву поэт приносил свой гордый ум. Мы видим, что даже о своей любимой простосердечной Татьяне Пушкин должен был сделать следующее замечание:

Еще предвижу затрудненье:
Родной земли спасая честь,
Я должен буду, без сомненья,
Письмо Татьяны перевести.
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалась с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски...
Что делать! повторяю вновь:

Доныне дамская любовь
 Не изъяснялася по-русски,
 Доныне гордый наш язык
 К почтовой прозе не привык.

Свою любовь к родному слову поэт влагает в другую женщину, рассказы которой он затвердил с юных лет («Вновь я посетил» 1835 года); ей поэт читал «плоды своих мечтаний»; ее песнями услаждался в уединении Михайловского 1825 года. Это – старая няня поэта, «единственная моя подруга» (по письмам Пушкина от 1824 года), которую он много раз упоминает и в «Евгении Онегине», и в других поэтических обращениях с ласковыми народными эпитетами «дряхлой голубки, доброй подружки». Из уст этой хранительницы русской народной словесности Пушкин записал много народных песен, сказок, запомнил меткие выражения и пословицы, хоть в шуточной форме поэт поминает такую народную сказительницу: «Сказки сказывать мы станем – / Мастерница ведь была! / И откуда что брала? / А куда разумны шулки, / Приговорки, прибаутки, / Небылицы, былины / Православной Старины!.. / Слушать так душе отрадно. / Кто придумал их так складно? / И не пил бы и не ел, / Все бы слушал, да глядел» (II, 149–150). Эти песни и сказки, несмотря на разницу в складе, в содержании тесно связаны с именем Пушкина как русского поэта. От появления «Руслана и Людмилы» 1820 года до «Русалки» 1832 года (может быть, обработанной, но не оконченной позднее, за смертью поэта) Пушкин оставался верен «духу русского языка», оставался защитником его народности от нападений критики. Вот несколько откровенных признаний поэта в письмах и критических замечках: «Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали» (1823); «о стихах Грибоедова я не говорю – половина должна войти в пословицу» (1825); «предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским» (1831); «изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка; критики наши напрасно ими презирают» (V, 128); «низкими словами я почитаю те, которые выражают низкие понятия; но никогда не пожертвую искренностью и точностью выражения провинциальной чопорности, из боязни казаться простонародным, славянофилом или тому под.» (V, 133); «не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям: они говорят удивительно чистым и правильным языком» (136). Языку Пушкина не препятствует оставаться до сих пор образцовым славянский элемент, в виде некоторых речений (се, днесь, сей, кои, глас, шить, сущий, младое, объемлет, могущий, вотще), которые употребляются Пушкиным с чувством меры и не во всех произведениях. Историческое значение этого славянского элемента не отнимает у языка нашего славного поэта непоколебимости, так сказать, вечной красоты, не отнимает и внутреннего содержания выражений, понятного по преданиям веры и быта, или, по широкому древнерусскому выражению, «земли», исключаяющего узкость племенных или кровных отношений.

Надо читать нападения русской критики 10—30-х годов на неправильность выражений и слов в сочинениях Пушкина, чтобы понять его мелкие замечания, рассеянные в разных сочинениях о «свободе нашего богатого и прекрасного языка», о «коренных русских словах» из просторечия, употребление которых не должно мешать (примечание к V главе «Евгения Онегина»). Нападения эти напоминают борьбу, начатую противниками Карамзина, и свидетельствуют о равном значении Пушкина в преобразовании русского слога с Карамзиным. Не будем повторять сказанного в первой главе об отношении Пушкина ко взглядам и деятельности его предшественников в области русского языка. Скажем только в дополнение к предыдущему вообще о складе поэтической речи Пушкина. Даже филолог-лингвист остановится с изумлением на гармонии согласных и гласных звуков в стихах Пушкина: часто мы видим полную симметрии в количестве согласных и гласных (широких и узких) в соответствующих стихах,

не говоря о рифмах, о точности языка, о естественном, непринужденном течении поэтической речи, о гармоническом сочетании повторений, куплетов, и пр. Вот примеры:

С утра садимся мы в телегу;
Мы погоняем с ямщиком...
.....
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
.....
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня.

Но изящество речи не составляло бы еще той заслуги Пушкина в русской литературе, какую мы признаем за ним спустя сто лет с его рождения, если бы с ним не соединялось изящество образа мыслей. Недаром множество стихов, выражений Пушкина сделались пословицами, афоризмами, мыслями философа, литератора, историка. Поэт не преувеличивал, когда приравнивал себя к «эхо русского народа» (1819).

Закончим наши беглые заметки о поэзии А.С. Пушкина следующими словами его первого строгого критика – Надеждина: «Было время, когда каждый стих Пушкина считался драгоценным приобретением, новым перлом нашей литературы. Какой общий, почти единодушный восторг приветствовал первые свежие плоды его счастливого таланта! Какие громозвучные рукоплескания встретили «Евгения Онегина» в колыбели!»⁸

Нельзя не привести и мельком оброненного в 1842 году (Сочинения В.Г. Белинского, VI, 1882 г., стр. 233) отзыва знаменитого критика, со дня кончины которого истекло тоже полстолетия: «Стих Пушкина – это вековечный образец, неумирающий тип русского стиха: не было и не будет лучшего. Искусство как искусство, поэзия как поэзия на Руси – это дело Пушкина. Без него не было бы у нас поэзии; и это потому, что он был слишком поэт, слишком художник, может быть, в ущерб своей великости в других значениях. И вот почему – повторяем – от него ведем мы русскую поэзию и называем его первым, даже по времени, русским поэтом».

Наконец, и определение первого восторженного критика Пушкинской эпохи, Н.А. Полевого, достойно воспоминания по отношению к избранной нами теме: «Какую заслугу оказал Пушкин выражению нашей поэзии, нашему стиху. Стих русский гнулся в руках его, как мягкий воск в руках искусного ваятеля; он пел у него на все лады, как струна на скрипке Паганини. Нигде не является стих Пушкина таким мелодическим, как стих Жуковского, нигде не достигает он высоты стихов Державина; но зато в нем слышна гармония, составленная из силы Державина, нежности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковского».

⁸ Летописи отечественной литературы. Телескоп 1832 г.

Пушкин в ряду великих поэтов нового времени⁹

Н.П. Дашкевич

Настоящими торжественными чествованиями величайшего из русских поэтов блистательно оправдываются вещи слова его о том, что «слух» о нем «пройдет по всей Руси великой и назовет» его «всяк сущий в ней язык». В этот всенародный праздник нашей родной поэзии, какого у нас никогда еще не бывало, всюду на Руси, даже среди цыган Бессарабии, «детей степей и лесов дремучих», горячо и в полном умилении сердца, провозгласит славу Пушкину, и тень великого поэта, претерпевшего столько невзгод и горестей при жизни и не раз подвергавшегося незаслуженному пренебрежению по смерти, возможет утешиться. Если бы ей было даровано незримое присутствие среди нас, то исполнилось бы обещанное поэтом потомку во время скитальчества по нашему югу:

Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье!¹⁰

Никогда еще на Руси не видели такого общего чествования национального поэта. Пред памятью Пушкина преклонятся все без различия русские люди, и чувства их разделят родственные славянские племена и многие другие просвещенные иноземцы. Все признают великое историческое значение поэзии Пушкина.

Все согласятся в такой оценке значения этой поэзии потому, что оно бесспорно и яснее самого светлого дня. Подвиг Пушкина превосходит услугу всякого другого писателя русской земли в новое время.

Со времени Баратынского не раз справедливо замечали, что Пушкин совершил в нашей литературе приблизительно то же, что Петр Великий сделал для русского государства. Пушкин поставил нашу поэзию на один уровень с западноевропейской и вместе явился истинным творцом нашей просвещенной литературной самобытности. В новом периоде нашей словесности он – первый действительно национальный поэт в высшем смысле этого слова: он владел и иноземными сокровищами поэтического наследия и черпал в то же время из богатых родников русской жизни, русской души и родной поэзии.

В содержании и форме поэтических произведений должно различать свое, как индивидуальное и национальное, и чужое, как инородное либо вообще международное. Богатством идей и содержания и степенью самостоятельности в претворении заимствованного материала и одновременно художественности формы измеряется значение отдельных поэтов и целых литератур. Проблема сочетания своего с чужим возникла, вероятно, уже с древнейших времен в более или менее бессознательном усвоении общечеловеческого культурного достояния. Вполне отчетливо она представилась сознанию уже в века античной образованности и определенного влияния греческой литературы на римскую. Постепенно, по мере усложнения и усовершенствования культуры, возрастает для литературы трудность соблюдения своей самостоятельности при сохранении в то же время полной связи с общим культурным движением. В ряду европейских литератур в таком особо затруднительном положении оказалась, кроме некоторых других славянских литератур, наша поэзия с XVIII века в силу того, что Русь поздно при-

⁹ Речь, произнесенная 26 мая 1899 года, в сокращении.

¹⁰ Сочинения А.С. Пушкина, Издание Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, под редакцией и с объяснительными примечаниями П.О. Морозова, СПб., 1887, т. I, 260. В последующих ссылках, где будут указываемы тома и страницы без других пояснений, выдержки будут приводимы по этому изданию.

мкнула вполне к общеевропейским литературным течениям и ей нелегко было выбиться из рутинной узкой колеи древнерусской церковности. Но, наконец, после целого века все большего и большего приближения к общеевропейскому литературному уровню, после целого ряда близких подражаний по ладным образцам либо неполных и неглубоких воспроизведений русской действительности наша поэзия и вообще литература быстро подвинулась вперед благодаря деятельности А.С. Пушкина. Автор «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и многих других образцовых поэтических созданий явился первым крупным представителем мощи русского дарования на поприще литературы. Он – наш первый великий поэт в полном значении этого слова, достигший мирового значения, выразитель нашей духовной сущности. Он первый у нас удовлетворил идеалу поэта, сложившемуся в новейшее время. В поэзии Пушкина находим гармоническое сочетание воображения, ума и чувства и мощный подъем вдохновения на почве широкого литературного образования¹¹ и выработанного им здорового литературного вкуса и критицизма. Это один из образованнейших и вместе умнейших наших поэтов. В нем нет шаблонности. Пушкин самобытен. На большинстве его литературных произведений виден отпечаток могучего таланта и удивительной разносторонности. И самые эти произведения весьма разнообразны, принадлежа почти ко всем главным родами и видам творчества. Впервые в созданиях Пушкина русская поэзия стала вполне правдивым и широким воспроизведением действительности при свете высших и плодотворных идей. Конечно, это воспроизведение сделалось потом еще многостороннее, да и стих Пушкина был превзойден в мягкости и мелодичности некоторыми последующими поэтами. Но Пушкину принадлежала заслуга первенства в раскрытии более широких горизонтов для русской поэзии и в новой выработке языка. Оттуда восторг, с каким принимали его произведения широкие круги общества¹². Со времени Пушкина литература стала необходимою частью нашей общественной жизни.

Но нелишне повторять в настоящий момент, что Пушкин составил эпоху в нашей словесности, что он – исходный пункт совсем нового периода развития, что он стал в литературе провозвестником новых путей свободного развития нашей общественности и воспитателем последней и тем поднял литературу до небывалого и подобающего ей значения, что для многих из нас он был глашатаем высоких идеалов истины, добра и красоты, и потому его поэзия действовала облагораживающим образом на целый ряд личностей и поколений до 1860-х годов и после того являлась заветом для многих последующих поэтов. Излишне также распространяться о том, что после Пушкина иные не видели ни у кого другого такого полного соответствия содержания и формы, такого удивительного сочетания поэзии и действительности. Не эта историческая заслуга и не тот общепризнанный факт, что Пушкин был великий поэт в свое время, могут более всего останавливать наше внимание в настоящий момент; нам интереснее теперь более важные вопросы общего свойства, связывающиеся с поэзией Пушкина, о котором иные говорят, что он доселе остается величайшим поэтом нашей земли. История литературы может и должна уяснять также факты большей ценности, чем указания преимущества литературных явлений и их исторической роли.

Смысл юбилейных воспоминаний в том именно и состоит, что они содействуют установлению более или менее зрелых суждений, невозможных в большинстве случаев для современников и вообще людей, близких по времени к тому или иному деятелю или явлению, и самым

¹¹ См. А.И. Кирпичникова «Пушкин как европейский поэт», Од. 1887, и в книге: «Очерки по истории новой литературы», СПб., 1896, и нашу речь: «Пушкин – поэт общеевропейский», 1887 (оттиск из газ. «Киевлянин» 1887). См. еще Ю. Веселовского, «Пушкин как европейский поэт», газ. «Новости», 1899, № 143.

¹² Справедливо выразился о себе Пушкин, говоря о себе и о Дельвиге (исключенное обращение к Дельвигу в стихотворении «19 октября» (1830; I, 126): «Явились мы рано оба на ипподром, а не на торг, Вблизи Державинского гроба, И шумный встретил нас восторг... Воронцов писал в 1824 г. (см. «Вед. Од. Градонач.», 1899) об «экзальтированных поклонниках поэзии Пушкина», «экзальтированных молодых людях».

отдаленным перспективам уясняют общее, вековое значение поминаемых личностей и событий, способствуют подведению общих итогов и тем бесконечно расширяют горизонты нашей мысли.

Относительно Пушкина это – дело, во многом еще не исполненное, несмотря на двукратное уже торжественное чествование его памяти, сопровождавшееся множеством речей и статей. О Пушкине было говорено и писано весьма много, но внутренняя последовательность его развития, основные идеи, чувствования и поэтические построения, составляющие существенное содержание его поэзии, и общий смысл последней все еще остаются не вполне нерешенным вопросом нашей критики. И ей еще подлежит выяснить, действительно ли Пушкин велик и теперь, как был велик для своего времени, и если он велик для нас и в настоящем, то почему? Истинно великие создания человеческого творчества имеют значение не только для своего времени, но и для последующих¹³. Спрашивается, принадлежат ли и произведения Пушкина к таким творениям?

Этот вопрос тем уместнее, что слава Пушкина подвергалась неоднократным колебаниям. Уже при его жизни она была не одинаково громка в те два главных периода, которые можно различать в его деятельности, начавшей принимать новое направление не под влиянием только николаевского царствования, но и в силу естественной эволюции в духе самого поэта, замечавшейся уже во время пребывания его в селе Михайловском по возвращении из пребывания на юге.

В годы юности Пушкина

...возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
Так сильно волновали кровь¹⁴.

Одновременно с этим поэт мечтал

Свой дух воспламенив жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изобразить
И нравы сих веков потомству обнажить.

Пушкин призывал музу пламенной сатиры; он не желал «гремящей лиры», а хотел Ювеналова бича от Музы и «готовил язву эпиграмм» на «лица бесстыдно бледные» и «лбы широкомедные»¹⁵.

Соответственно тому его чернильница,

Любовница свободы...
Прославила вино
И прелести природы;
...смеху обрекла
Пустых любимцев моды
И речи и дела.
С глупцов сорвав одежду,

¹³ Ср. V, 130: «Произведения великих поэтов остаются свежи и вечно юны – и между тем как великие представители старинной астрономии, физики, медицины и философии один за другим стареют и один другому уступают место, одна поэзия остается на своем неподвижно и никогда не теряет своей молодости».

¹⁴ I, 292.

¹⁵ I, 72, ср. 35–36 и II, 161–162.

ПОЭТ

... весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном своих чернил¹⁶.

Пушкин подверг суровому приговору близкие к нему по времени царствования Екатерины II, Павла I и в особенности свое собственное время, Александра I (собственно вторую половину его), которое собирался и позже изобразить «пером Курбского»:

Везде бичи, везде железа,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы и пр.¹⁷

Пушкин писал более чем либеральные стихотворения. Его оппозиционная песенка Noël, язвительно осмеивавшая слухи о предстоящем даровании империи новых (конституционных) установлений императором Александром I, была весьма распространена в оппозиционных кругах¹⁸.

Эти вольности пера Пушкина были причиной, что его

Средь оргий жизни шумной
Постигнул остракизм¹⁹.

Но он

...не унизил век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной²⁰.

В его стихах постоянно прославлялась «свобода», и Пушкин продолжал подвизаться на поприще не только личной, но и той общественной сатиры, которая была так спасительна для нас начиная со времени Кантемира и в особенности со времени Екатерины II. Из-под пера Пушкина выходили едкие эпиграммы:

...Пушкина стихи в печати не бывали.
Что нужды? их и так иные прочитали²¹.

Пушкин восставал против различных печальных явлений утеснения, начиная с крепостного права и оканчивая крайностями цензурных придирок:

...не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебе, не видим книг доселе?..
На поприще ума нельзя нам отступать.

¹⁶ I, 244–245.

¹⁷ I, 219, также Ода «Вольность» в берлинском издании не разрешенных цензурой стихотворений Пушкина.

¹⁸ VII, LXI.

¹⁹ I, 296.

²⁰ I, 260.

²¹ I, 317.

Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечества назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?²²

В тот период своей деятельности Пушкин был писателем в направлении, которое так ценит наша либеральная партия. Он был членом кружка П.Я. Чаадаева, кн. П.А. Вяземского, А.И. Тургенева, кн. В.В. Одоевского и был приятелем не только Карамзина и Жуковского, но и декабристов. По собственному заявлению Пушкина²³, он очутился бы в числе декабристов в роковой для них день, если бы не находился в то время в селе Михайловском. Пушкин был тогда кумиром оппозиционной и либеральной партии, и пьедестал его в то время был, по словам кн. П.А. Вяземского²⁴, «выше другого».

Но уже до катастрофы 14 декабря 1825 года, во время пребывания Пушкина в селе Михайловском, замечаются симптомы поворота в некоторых из мнений молодого поэта, а то грозное событие и судьба заговорщиков должны были усилить работу мысли Пушкина в новом направлении. Пушкин не изменял до конца своих дней в сочувствии своим друзьям-декабристам, имел столкновения с полицией и цензурой и в начале нового царствования подвергался утеснениям со стороны гр. Бенкендорфа и т. п., но уже не был душою оппозиционной партии, и с сентября 1826 года, со времени коронации нового императора в Москве, началось сближение поэта с последним. Отправляясь тогда во дворец, Пушкин мнил себя «пророком России», представившим «с вервьем вокруг смиренной выи». Император, однако, «царственную руку подал» поэту, «почтил вдохновенье, освободил мысль» его, и Пушкин, которого «текла в изгнанье жизнь», который «влачил с милыми разлуку», очутился снова с ними.

Постепенно, достигая умственной зрелости, Пушкин стал иначе, чем прежде, относиться к русскому самодержавию, или «самовластью», как выражались русские либералы в конце Александровской эпохи и он сам²⁵; перестал быть космополитом после 1830 года и вообще изменил многие из своих прежних мнений.

Соответственно всему этому произошло охлаждение к Пушкину в русском высшем обществе и в нашей критике. Уже в 1828 году Пушкину пришлось оправдываться перед друзьями в лести и писать:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю²⁶.

В другом стихотворении того же года читаем:

И сердцу вновь наносит хладный свет
Неотразимые обиды²⁷.

²² I, 318.

²³ II, 2 и Ответ на вопрос имп. Николая.

²⁴ Письмо в с. Михайловское.

²⁵ См., напр., V, 14 и «Ост. арх.».

²⁶ II, 29–30: «Друзьям».

²⁷ II, 37.

Пушкину иные не могли простить примирения с правительством, камер-юнкерства и т. п.²⁸, и он очутился в обычном положении человека, несколько отдалившегося от одной партии и не пристававшего вполне к другой, потому что не вполне разделял ее взгляды. С другой стороны, в литературе от Пушкина отшатнулись не только литературные старожилы и противники нового, романтического веяния, но и вообще русская критика конца 20-х и первой половины 30-х годов оказалась ниже понимания простой красоты его поэзии свободной от прикрас и вычурности, в том числе и романтической. На первых порах критика как бы не доросла до того нового направления поэзии, какому полагал у нас начало Пушкин. Надеждин зачислил однажды Пушкина в «сонмище нигилистов». Иные из критиков порешили, что от поэта нельзя было уже ждать ничего ценного. Белинский в «Литературных мечтаниях» 1834 года писал: «Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер или, может быть, только обмер на время...» И Пушкину, который в годы после создания «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» поднимался на более высокую ступень творчества, оставалось с грустью отмечать неуспех своих произведений²⁹, ничтожество русской литературной критики³⁰ и отстаивать свободу своего вдохновения и творчества в своих известных лирических произведениях, о которых скажем ниже.

Обаяние Пушкина среди читателей было, однако, столь велико³¹, что критике, не одобрявшей его произведений по двум указанным основаниям, в особенности же по причине мнимой отсталости поэта³², нелегко было покончить с ним и оставалось выискивать подходящий компромисс.

От этого изворота не остался свободен и лучший из наших критиков 30-х и 40-х годов В.Г. Белинский в статьях, относящихся к последнему периоду его деятельности, когда он оценивал литературные произведения преимущественно с социальной точки зрения, со стороны споспешествования их общественному прогрессу. Белинский как будто восхищался некоторыми произведениями Пушкина, в частности, как образцовыми художественными совпадениями³³, но ставил низко другие³⁴. Не находя в важнейших произведениях периода зрелого творчества Пушкина прямого отклика на ближайшие, по мнению критика, запросы действительности, хотя и позднейшая поэзия Пушкина постоянно была полна немаловажных соотношений с современностью и хотя в поэзии важно не только внимание к злобе дня и выраже-

²⁸ Письмо В.Г. Белинского к Н.В. Гоголю с предисловием М. Драгоманова, Geneve, 1880, стр. 7: «Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданных стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви!» Ср. в цит. заметке Мицкевича.

²⁹ V, 132: «Habent sua fata libelli. Полтава не имела успеха. Может быть, она его и не стоила, но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, гораздо слабейшим произведениям» и т. д. Там же, 126: «Наши критики долго оставляли меня в покое... Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатании четвертой и пятой песни Евгения Онегина», т. е. в 1828 г.

³⁰ См. V, 72–73: «О литературной критике»; «Критические заметки», V, стр. 111 и след. Отметим: «обвинения нелитературные... нынче в большой моде»; «оскорбления личные и клеветы ныне, к несчастью, слишком обыкновенные»; «сам съезд есть ныне главная пружина нашей журнальной политики» и т. п. К Белинскому Пушкин отнесся мягче.

³¹ Об отношении молодежи к Пушкину в момент его смерти см. хотя бы в воспоминаниях Гончарова и в известном стихотворении Лермонтова на смерть Пушкина.

³² V, 130: «В одном из наших журналов было сказано, что VII глава (Онегина) не могла иметь никакого успеха, ибо наш век и Россия идут вперед, а стихотворец остается на прежнем месте». Ср. Сочинения Белинского, ч. VIII, изд. 4-е. М., 1880, стр. 341: «Даже собственно романтическая критика, та самая, которая несколько лет сряду провозглашала Пушкина «северным Байроном» и «представителем современного человечества», даже и она отложила от Пушкина и объявила его чуждым «высших взглядов и отставшим от века»... Несмотря на смешную сторону этого факта, в нем нельзя не признать большого шага вперед, и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности».

³³ Напр., «Каменным гостем», который, по его мнению (VIII, 692), «в художественном отношении есть лучшее создание Пушкина».

³⁴ VIII, 693–694: «В 1831 году вышли повести Белкина, холодно принятые публикою и еще холоднее журналами. Действительно, хотя нельзя сказать, чтобы в них уже вовсе не было ничего хорошего, все-таки эти повести были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то вроде повестей Карамзина, с тою только разницею, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а повести Белкина были ниже своего времени». Знаменитый критик упустил из виду хотя бы столь излюбленный им реализм в некоторых из этих повестей.

ние тех или иных общественных симпатий, но и служение общим интересам человечности и воспроизведение общих идеалов народности, знаменитый критик заявил в конце своих статей о Пушкине: «Пушкин был по преимуществу поэт-художник, и *больше ничем не мог быть по своей натуре*. Он дал нам поэзию, как искусство, как художество. И потому он навсегда останется великим, образцовым мастером поэзии, учителем искусства. К особенным свойствам его поэзии принадлежит ее способность развивать в людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека... Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по твореньям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...»³⁵ Таким образом, в конце концов Белинский признал за поэзией Пушкина лишь благотворное эстетическое и моральное воздействие и усматривал в ней по преимуществу художественные достоинства, а в ее авторе поэта-эстетика.

Для полного понимания смысла таких суждений необходимо принять во внимание, что красоту формы вообще Белинский не ставил на первом месте. «Главное-то у меня все-таки в деле, а не в щегольстве», – писал он Боткину. Великого народного и общественного значения поэзии Пушкина и по содержанию ее помимо отмеченных ее художественных достоинств, гражданских мотивов ее Белинский не признал и не мог признать, потому что в силу односторонности своего взгляда не всегда мог оценить иные из преимуществ пушкинских произведений³⁶, да и не вполне верно понимал самого поэта³⁷. Потому же не разгадал он идейной стороны в поэзии Пушкина и первенствующего значения последней в русской литературе XIX века³⁸. Белинский не мог открыть у Пушкина глубоких и оригинальных идей и художественных концепций непреходящего значения. Бесспорно, весьма крупная заслуга Белинского в оценке поэзии Пушкина заключалась в раскрытии художественности последней. Действительно, красота поэзии Пушкина столь велика, что после того никто уже не отрицал ее, даже самые строгие критики этой поэзии. Но в этом ли ее существенная черта? Белинский, настаивая преимущественно на таком ее значении, допустил один из тех немалочисленных промахов, которые

³⁵ VIII, 696–697.

³⁶ II, 631: «Вообще, надобно заметить, что чем больше понимал Пушкин тайну русского духа и русской жизни, тем больше иногда и заблуждался в этом отношении. Пушкин был слишком русский человек и потому не всегда верно судил обо всем русском... Что до утверждения Белинского, что Пушкин «увлекся авторитетом Карамзина и безусловно покорился ему», то напомним хотя бы слова Пушкина: «Карамзин под конец был мне чужд» (VII, 268) – и укажем на лекцию И.Н. Жданова «О драме А.С. Пушкина: «Борис Годунов» (СПб., 1892, стр. 12 и след.). О Белинском в оценке произведений Пушкина можно сказать прямо противоположное его отзыву о Пушкине, так как «все русское» не «слишком срослось с ним», он не понял некоторых существенных достоинств «Капитанской дочки», хотя и признал ее «одним из замечательных произведений русской литературы» (VIII, 694). См. об этом произведении Н.И. Черняева «Капитанская дочка» Пушкина, историко-критический этюд». Оттиск из журнала «Русское обозрение» 1897 г. М., 1897.

³⁷ См., напр., VIII, 632: Пушкин «в душе был больше помещиком и дворянином, нежели сколько можно ожидать этого от поэта». Заметим по этому поводу, что и сам Белинский долго добивался утверждения в дворянском звании и его ходатайство о том увенчалось успехом лишь незадолго до его смерти. См. ст. А.С. Архангельского. Приведем далее столь же неосмотрительные и поверхностные суждения Белинского: «Первыми своими произведениями Пушкин прослыл на Руси за русского Байрона, за человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить более антибайронической, более консервативной (sic) натуры, как натура Пушкина. Вспоминая о тех его «стишках», которые молодежь того времени так любила читать в рукописи, – нельзя не улыбнуться их детской невинности и не воскликнуть: То кровь кипит, то сил избыток! Пушкин был человек предания гораздо больше, нежели как об этом еще и теперь думают. Пора его «стишков» скоро кончилась, потому что скоро понял он (sic; а стремление Пушкина к публицистической деятельности в последние годы его жизни?), что ему надо быть только художником, и больше ничем, ибо такова его натура, а следовательно, таково и призвание его». Можно бы и еще указать подобные неверные рассуждения у Белинского, срывавшиеся с пера не после глубокого и спокойного изучения предмета, а в пылу страстного увлечения излюбленной идеей, как, напр., разобранный г. Кирпичниковым (Очерки, стр. 145 и след.). См. еще у Трубочева: Пушкин в русской критике. СПб., 1889, стр. 310–311 и в статье Краснова. «Книжки недели», май 1899.

³⁸ В оригинале статьи Белинского о втором издании «Мертвых душ» (юбилейное издание «Семь статей Белинского». М., 1898, стр. 153), писанной незадолго до его кончины, величайшим произведением русской литературы были признаны «Мертвые души». Точно так же и Чернышевский (Очерки Гоголевского периода русской литературы, Изд. М.Н. Чернышевского. СПб., 1892, стр. 10–11) писал: «Мы называем Гоголя без всякого сравнения величайшим из русских писателей, по значению».

заставляют умерить чрезмерное, впадавшее в излишний панегиризм, юбилейное восхваление его критической проницательности.



А. Мицкевич

Для надлежащей оценки таких односторонних суждений, как высказанные Белинским, достаточно принять во внимание отзывы лиц, хорошо знавших Пушкина и компетентных не менее знаменитого нашего критика, например, Мицкевича. Этот поэт и вместе критик, которого нельзя же заподозрить в особом пристрастии к Пушкину, признал за последним не только «un jugement sûr, un gout délicat et exquis» (суждение верное, вкус утонченный и превосходный (фр.). – *Примеч. ред.*), но и «la vivacité, la finesse et la lucidité de son esprit»³⁹ (живость, тонкость, ясность ума (фр.). – *Примеч. ред.*). Оставляю в стороне отзывы других великих современников о Пушкине как о замечательном мыслителе⁴⁰.

Так, Пушкин, как то часто бывает, не был правильно понят и оценен критикой своего и ближайшего времени.

Белинский явился начинателем того отношения к поэзии Пушкина, которое держалось в русской критике на первом месте до 70-х годов нашего века, которое повторил без рез-

³⁹ Статья Мицкевича в «Globe» 1837 г. Теперь русский перевод с польского ее текста дан в «Мире Божием» 1899, № 5.

⁴⁰ См. в начале этюда Мережковского.

ких крайностей талантливый Чернышевский⁴¹, а с преувеличениями – даровитый, но неглубокий отрицатель значения поэзии Пушкина, основываемого на ее художественности, Писарев, применивший к поэзии с горячностью и запальчивостью слишком увлекающейся молодости страстные требования момента⁴², и которое довел, наконец, до Геркулесовых столбов Зайцев⁴³. Молодежь увлеклась этими крайними суждениями в силу присущих ей свойств и значения, которое уже со времен Пушкина придавали у нас тенденциозности⁴⁴. Напрасно Анненков⁴⁵, Григорьев⁴⁶ и другие, иногда не совсем удачно, указывали на несправедливость отношения к Пушкину, утвердившегося в русской критике и вслед за нею в некоторых слоях русского общества второй половины 50-х и в 60-х годах. А.Н. Пыпин в «Характеристиках литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов»⁴⁷ подкрепил суждения Белинского и критики 50-

⁴¹ См., напр., «Очерки Гоголевского периода», стр. 18: «Что касается сатирического направления в произведениях Пушкина, то оно заключало в себе слишком мало глубины и постоянства, чтобы производить заметное действие на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало в общем впечатлении чистой художественности, чуждой определенного направления (sic), – такое впечатление производят не только все другие лучшие произведения Пушкина – «Каменный гость», «Борис Годунов», «Русалка» и пр., но и самый «Онегин».

⁴² Справедливую оценку аргументации Писарева касательно Пушкина представил В.С. Соловьев (Судьба Пушкина. СПб., 1896, стр. 22–23).

⁴³ См., напр., в его статье «Гейне и Бернс» (Русское слово, 1863, № 9, стр. 27): «Мы не современники Пушкина, однако не можем серьезно относиться к его шалостям, вроде «Оды к свободе»; иностранец, для которого личность Пушкина сама по себе совершенно неизвестна, удивится такому взгляду на произведение, которое может на него произвести сильное впечатление. Мы бы тоже, может быть, испытали это впечатление, но нам мешает чувствовать его другое впечатление, впечатление всего того, что мы знаем о личности поэта. Оно приходит нам на память при чтении «Оды к свободе», и мы можем только презрительно улыбаться, читая ее» и т. п.

⁴⁴ Справедливо заметил A. Daudet, Notes sur la vie, La Revue de Paris, 15 Mars 1899, p. 337: «La jeunesse moins prise par les poètes, les romanciers, que par les critiques, les historiens, doctrinaires, dogmatiques, qui continuent l'école». Ср. в ст. по поводу «Отцов и детей», в журнале «Время» 1862, № 4, стр. 50 и след. замечая я об искании «поучения, наставления, проповедей», составлявшем «признак тревожного, болезненного, напряженного состояния нашего общества». И.С. Тургенев объяснял охлаждение к Пушкину в 60-х годах тем, что «настало новое время, появились неожиданные, небывалые потребности, стало не до художественности, восхищаться которой могли наравне с народными нуждами только записные словесники. Чувства Пушкина стали анахронизмом». Ф.Б. Венков на Памятник Пушкину. СПб., 1880, стр. 50. В этих словах немало неудачных замечаний, начиная с указания в духе критики Белинского и его последователей на художественность как на существенную черту пушкинской поэзии, и оставлено без внимания общественное значение ее и ее более глубокий смысл, а также и то, что охлаждение либеральной партии к Пушкину вело начало издавна.

⁴⁵ Анненков. Воспоминания и критические очерки, отдел второй. СПб., 1879, статья 1856 г.: «Старая и новая критика» (из «Русского вестника»), стр. 12: «В последнее время мы видели попытки заслонить, если не отодвинуть на второй план нашего художника по преимуществу, Пушкина; именно за его исключительное служение искусству. Критики, с выражением глубокого уважения и горячих симпатий к его деятельности, принуждены были, однако ж, ради последовательности в убеждениях и во имя существенного содержания и направления, пожертвовать этим именем, столь любезным еще нашей публике. Явление печальное, особенно потому, что следствием его, если бы мнение укоренилось, было бы непременно загромождение литературы». Стр. 13–14: «Кто же не отнесет к числу практически полезных предметов науку благородно мыслить и благородно чувствовать, в которой Пушкин был учителем, не превзойденным доселе». Как видно из этих строк, Анненков стоял на той же точке зрения, что и Белинский, во взгляде на Пушкина и отстаивал лишь право чистой художественности, не придавая значения ни сатирической, ни публицистической струе в деятельности Пушкина, ни другим ее сторонам, на которые стали обращать внимание с 1880 г., присмотревшись к ней повнимательнее.

⁴⁶ Сочинения Аполлона Григорьева, т. I. СПб., 1876, стр. 237 и след. «Да, вопрос о Пушкине мало подвинулся к своему разрешению со времени «литературных мечтаний», а без разрешения этого вопроса мы не можем уразуметь настоящего положения нашей литературы. Одни хотят видеть в Пушкине отрешенного художника, веря в какое-то отрешенное, не связанное с жизнью и не жизненно рожденное искусство, – другие заставляли бы «жреца взять метлу» и служить их условным теориям...» Григорьев уже пролагал путь взгляду, развитому полнее в речи Достоевского 1880 г. Он писал в 1859 г.: «Пушкин – наше всё: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности... не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий – Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии. Гоголь явился только меркою наших антипатий и живым органом их законности, поэтому чисто отрицательным» и т. п. (стр. 238–240).

⁴⁷ Белинский отметил, что Пушкин «в высшей степени обладал тактом действительности, который составляет одну из главных сторон художника». Первоначально монография г. Пыпина в виде отдельных статей явилась в «Вестнике Европы» 1872–1873 гг. и затем отдельной книгой, второе издание которой, с исправлениями и дополнениями, вышло в СПб., 1890. На 91–92 стр. последнего читаем: «Художественная высота Пушкинской поэзии, кроме изумительных по красоте произведений личной лирики, выразилась первым установлением того глубокого реализма в изображении русской действительности, кото-

х годов, разъяснив их смысл оговорками, например, указанием вслед за Белинским на реализм пушкинской поэзии.

Поворот и углубление в мнениях о Пушкине, начавшееся в конце 70-х годов, объединившее людей различных лагерей и приведшее к сооружению московского памятника великому поэту в 1880 году, сказались в особенности во время торжества по поводу открытия того монумента. Но и «Пушкинские дни» 1880 года, несмотря на «святой восторг, вдохновенный трепет, охвативший русскую интеллигенцию перед чистым образом своего гения»⁴⁸, несмотря на единодушные, с каким все признали заслуги чествовавшегося поэта⁴⁹, не рассеяли вполне укоренившихся предрассудков. Достигшие громкого успеха речи ораторов, говоривших во время тех торжеств, в особенности вдохновенный дифирамб всечеловечности Ф.М. Достоевского⁵⁰, и отчасти статья Анненкова «Общественные идеалы Пушкина»⁵¹ наметили новые пути для надлежащего и всестороннего изучения Пушкина⁵², но не изъяснили научно и с надлежащей полнотой значение его поэзии и потому не могли вполне убедить критиков, продолжавших держаться иного образа мыслей.

Только после 1880 года критическое изучение личности и произведений Пушкина начало направляться по надлежащему пути в таких этюдах, как речь В.В. Никольского⁵³ и очерк Д.С. Мережковского⁵⁴, написанных также не без промахов, но выясняющих смысл и основные идеи пушкинской поэзии в тех двух направлениях, которые в особенности должны останавливать на себя внимание, именно в ярком и типическом выражении ею русского народного духа и в постановке ею проблем мировой поэзии.

рый стал с тех пор господствующей чертой нашей литературы и источником ее дальнейшего успеха и современного европейского значения... Трезвое чутье действительности, кроткое, гуманное чувство, запечатленные в его произведениях, классическая форма, остались его художественным заветом, который остался памятен для его преемников, ощущавших на себе его влияние... В этом, а не в какой-либо общественно-политической доктрине заключается историческое значение Пушкина и великое наследие, оставленное им дальнейшему развитию литературы».

⁴⁸ Венок на памятник Пушкину, 13. См. еще воспоминания Буквы в «Русских ведомостях» 1899 г.

⁴⁹ Ср. Русскую мысль 1887, № 2, Внутреннее обозрение, стр. 197; отмечая «проявившийся в 1887 г. в самой печати недостаток единодушия, обозреватель замечает: «Правда, и семь лет тому назад произошли такие эпизоды, как возвращение билета одною московскою редакцией и отказ от рукопожатия. Но все-таки вся журналистика в то время имела своих представителей на московском празднестве и на одновременном с ним петербургском».

⁵⁰ Речь Ф.М. Достоевского явилась тогда в «Московских ведомостях» и «Дневнике писателя», затем в «Венке»; в настоящем году она перепечатана в отдельном издании: Пушкин (очерк). СПб., 1899.

⁵¹ Вестник Европы, 1880, № 6; изложение содержания есть также в «Венке».

⁵² Было ярко подчеркнуто значение Пушкина как народного поэта и то, что «все общечеловеческое слил он в своих созданиях с тем прекрасным, святым, что заложено в основные природы нашего русского духа» («Венок», стр. 41 – слова Юрьева). Ауэрбах заявил тогда, что Пушкин, «при сохранении национальной своей самобытности и своеобразности, принадлежит к мировой литературе, имевшей Гёте своим провозвестником» (Ib, 46). Теперь в том же направлении взглянул на поэзию Пушкина П.И. Вейнберг в своем слове.

⁵³ Идеалы Пушкина, СПб., 1887. Первоначально речь эта была произнесена в 1881 г. на акте в С.-Петербургской дух. академии и напечатана в № 3–4 «Христианского чтения» 1882 г. Промахи этюда Никольского указаны в статье А.Н. Пыпина: «Первые объяснения Пушкина», Вестн. Европы, 1887, № 10, стр. 642–647. Новое (третье) издание речи Никольского, с приложением двух других статей того же автора, вышло СПб., 1899.

⁵⁴ А.С. Пушкин. Характеристика. Первоначально эта статья явилась в книге П. Перцова «Философия течения русской поэзии». СПб., 1896 (2-е издание вышло в 1899 г.) и затем перепечатана в книге Мережковского «Вечные спутники», вышедшей вторым изданием в настоящем году. Автор справедливо указал на важное значение «Записок Смирновой» и попытался осветить мировое значение поэзии Пушкина. У Пушкина, как и у Гёте, Мережковский видит «веселую мудрость, олимпийскую ясность и простоту». Ранее эти черты подметил в Пушкине De Vogüé, Le roman russe (Вогюэ «Русский роман»), Par. 1886. «Пушкина Россия сделала величайшим из русских людей, но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом с Гёте, Шекспиром, Данте, Гомером, места, на которое он имеет право по внутреннему значению своей поэзии... В XIX веке... Пушкин в своей простоте – явление единственное, почти невероятное. В наступающих сумерках, когда лучшими людьми века овладевает ужас перед будущим и смертельная скорбь, Пушкин, кажется, один из учеников Гёте, преодолевает дисгармонию Байрона, достигает самообладания, вдохновения без восторга и веселия в мудрости, – этого последнего дара богов... Если предвестники будущего возрождения нас не обманывают, то человеческий дух от старой, плачущей, – перейдет к этой новой, Олимпийской ясности и простоте, завещанной искусству Гёте и Пушкиным». По-видимому, этюд г. Мережковского имел в виду В.С. Соловьев на 23 и след. стр. брошюры «Судьба Пушкина».

Но воззрения Белинского, Писарева и подобные так укоренились в суждениях о поэзии Пушкина, что не вполне подорваны ни знаменательным чествованием памяти Пушкина в 1880 году, ни юбилейными поминками в 1887 году⁵⁵. Эти взгляды разделяются и исповедываемы не только юношами, зачитывающимися на школьной скамье Писаревым, но даже людьми, не вполне придерживающимися общего мировоззрения критиков 60-х годов. Для недостаточно критической и вдумывающейся молодежи резкие приговоры Писарева – достойное воздание поэту красивых фраз и картинок, для других суждения Белинского – почти альфа и омега того, что можно и должно говорить о поэзии Пушкина.

Однако, что бы ни говорили, торжественные чествования памяти Пушкина в годах 1880, 1887-м и в особенности в настоящем показывают, что в поэзии Пушкина таится еще какая-то особая сила, неизмеримо более широкая, чем та, какую усвояют ей усматривающие со времени Белинского в произведениях Пушкина в качестве главного преимущества их «необычайную художественность». И вдумывающийся в глубокий смысл этих торжеств не может не задать себе вопрос о том, чем же чарует память Пушкина нас, его отдаленных потомков, и какая таинственная сила присуща его поэзии, кроме ее красоты?

Дни торжественных воспоминаний о великих людях, много совершивших для духовного развития, просвещения и преуспевания своего народа, вековые юбилейные чествования их не требуют панегиризма, а налагают на участников всего этого священную обязанность не только выражения чувствований признательности, живущей в сердцах потомства, но и по возможности полного и всестороннего уяснения духовного облика славных деятелей, всего процесса их душевной деятельности и основных ее мотивов, призывают к восполнению и исправлению тех недосмотров и ошибочных построений, которые искажали истинный образ личности, заслужившей себе «нерукотворный намятник» у своего народа, к высшей критике ее самой и ее деяний.

В применении к Пушкину первым и важнейшим делом высшей критики является уяснение развития мысли этого поэта в ее целостности, проверка указываемых в ней противоречий и двойственности жизни и творчества, восстановление мирозерцания, того, что можно бы назвать философией поэта. Всего этого наука еще не раскрыла с достодолжной обстоятельностью и тщательностью. А между тем только после такой работы будет вполне ясно, действительно ли был прав и исчерпал ли всю сущность вопроса столь превознесенный во время недавнего юбилейного чествования наш знаменитый критик, сводивший значение поэзии Пушкина преимущественно к ее художественности и возбуждению гуманного чувства, «разумая под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека». В этой ли художественности тайна обаяния, какое так долго производила и производит на многих и теперь поэзия Пушкина? Действительно ли Пушкин по преимуществу поэт изящной формы?

Если бы так было, то Пушкина нельзя было бы признать великим поэтом. Поэтов весьма изящной формы и даже необычайной художественности не так мало, но им, например Петрарке, иные отказывают в праве на наименование великими, несмотря на изящество их поэтических созданий.

⁵⁵ См. ст. А.Н. Пыпина «Новые объяснения Пушкина». Вестн. Евр., 1887, № 10. Во 2-м изд. «Характеристик литературных мнений», стр. 56, читаем: «Сравнив те нравственно-общественные выводы, какие делались в эти последние годы из деятельности Пушкина, с теми, какие делались в сороковых годах, мы едва ли не должны отдать предпочтение решениям Белинского... мы должны будем признать в Пушкине известную двойственность, другими словами, известное разноречье, и чтобы определить его, должно будет признать именно то различие между Пушкиным-художником и общественным человеком, которое было видно Белинскому и которое новейшие критики хотят слить в представление Пушкина как поэта-гражданина... Если мы спросим себя: как могли, однако, эти разнородные элементы новейшего общества соединиться в единомышленном чествовании Пушкина, объяснение найдется именно в этой высшей черте личности Пушкина, в этой необычайной художественности, которая некогда увлекала его первых полусознательных читателей, которая сделала его могущественным двигателем последующей литературы и которая продолжала теперь неодолимо властвовать над всеми, кто только поддается поэтическому очарованию, без различия «направлений».

Мы же ценим выше всего в поэзии то, чего, в сущности, требовал от нее и Пушкин⁵⁶, – сочетание изящной формы с мощным содержанием, с глубиной и величием хорошо продуманных идей и с силою чувства, способною увлекать своим могучим порывом, истинно художественное выражение известного возвышенного мирозерцания. В наши дни явилась даже теория (Л.Н. Толстого), отрицающая первостепенное значение красивой формы и потому не придающая значения и красивому стиху.

Если бы Пушкин был не больше как поэтом изящной, хотя бы и в необычайной степени, формы, то значение его было бы кратковременно и ограничено, подобно значению какого-нибудь Боало и Попе (Буало и Поуп. – *Примеч. ред.*). Он отошел бы теперь уже в «ряд второстепенных!», чисто исторических, знаменитостей, и чествование столетия дня появления его на свет было бы одним из тех юбилейных празднеств, которые бывают иногда последним, заключительным моментом широкого воздействия писателя, как это можно сказать, например, о столетнем юбилее Вальтера Скотта. Пушкин был бы для нас одним из полубогов литературного пантеона вроде Ломоносова, Карамзина, Жуковского, столетия годовщины которых также были отпразднованы в свое время довольно шумными, преимущественно академическими, торжествами и которых мы читаем в годы учения, но которые кажутся нам потом уже весьма далекими от живых интересов нашей души, совсем не такими, как также чествовавшиеся недавно Шекспир, Гёте, Шиллер, Байрон, Шелли, остающиеся истинными классиками и продолжающие увлекать нас если не с прежнею силою свежести и новизны, то с более серьезным проникновением в глубь нашей души.

Нет, Пушкин принадлежит к этому второму, высшему разряду литературных знаменитостей и корифеев. Недаром он сам представлял свое служение пророческим: многим из нас дорога почти каждая его строка. Видимо, еще «жив» во всей России

...дух поэта
И песня дивная жива,

хотя Мережковский и заявил, что после Пушкина «вся история русской литературы есть история довольно робкой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшей волной демократического варварства, история могущественного, но одностороннего воплощения ее идеалов, медленного угасания, падения, смерти Пушкина в русской литературе». После того как Пушкин умер в сознании некоторых кругов общества, что постигает иногда и таких титанов, как Шекспир, Гёте, он вновь воскресает с 80-х годов, потому что он истинно велик, как велики выдающиеся поэты человечества, являющиеся его учителями в высшем смысле этого слова. Это был многообъемлющий гений. И мы находим у него не только красоту выражения, но и соответственную ей глубину идей и чувствований, богатый клад нестареющих мыслей и

⁵⁶ Приблизительно таково было и воззрение Пушкина на поэзию. «Стихи, которые производят впечатление на душу, на сердце, на ум, – сказал он однажды, – запечатлеваются в памяти, действуя сразу на все наши способности». Записки А.О. Смирновой, изд. редакции журнала «Северный вестник», ч. 2. СПб., 1895, стр. 207. Ср. в «Черновых набросках» 1826 г. (II, 8): О ты, который сочетал С глубоким чувством разум верный, И точный ум, и слог примерный, О ты, который избежал-Сентиментальности манерной... и I, 359: Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво. В 1834 г. Пушкин назвал стихи «важной отраслью умственной деятельности человека» (Мысли на дороге, V, 248). Пушкин как бы требовал гармонического и равномерного сочетания сил, создающих поэзию, и в этом отношении его взгляд вернее взгляда Белинского, утверждавшего, что «в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль». Пушкин отличал восторг от вдохновения и понимает вдохновение как «расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображений понятий, следственно, и объяснению их. Восторг исключает спокойствие – необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы, ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвести истинное, великое совершенство... Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого» (V, 21). Ср. изречение Бюффона о том, что «гений есть труд». Известно, как медленно работал Пушкин над иными из своих произведений и как долго вынашивал их в своей душе. Он сам признал одним из своих отличительных качеств медленность в литературном труде, а эта медленность обуславливалась процессом упорной и тщательной умственной работы, предшествовавшей и сопутствовавшей созданию его произведений.

чувств, которые сохраняют значение, можно думать, не только для нас, но и для времен грядущих.

В великих поэтах особый, возвышенный интерес представляет для нас развитие их личности, так сказать, творчество их жизни и гармония их мирозерцания, то, что называют иногда философией великих художников, например философией Шекспира, немецких классических поэтов, Вагнера. К жизни и деятельности великих поэтов в особенности может быть применена формула Клода Бернара: «Жизнь есть творение». Мирозерцание, проникающее творения великих поэтов, не есть теоретическое познание и представление мира, а вполне отчетливое, стройное, творческое упорядочение восприятий конкретно открывающегося поэту космоса согласно со своеобразною духовною мощью созерцателя⁵⁷.

Такой же двоякий высокий интерес внушает нам и Пушкин – своею жизнью и своим восприятием действительности и отношением к миру.

Пушкин велик не только как поэт, но почтенен и как личность, если окидывать одним взором не только нередкие в молодости его моменты жизни, когда был

В заботах суетного света
Он малодушно погружен...
И меж детей ничтожных мира
Быть может, всех ничтожней он,

но и всю его жизнь труда, борьбы со светом и с собой, чистых восторгов и упоений и неоднократной победы над собой, невзирая на силу долго бушевавших в нем страстей. Не говорю уже о том, что Пушкин может быть признан заслуживающим уважения как личность, отдавшая всю свою жизнь беззаветному служению великому делу, не ради славы (он не гонялся за нею в годы зрелости), выгод и положения, а по чистому влечению гения и морального чувства, и совершившая это дело.

Есть веские возражения против идеализации Пушкина как личности. В 50-ю годовщину его кончины бывший одесский и херсонский архиепископ Никанор, поминая поэта в Неделю блудного сына, подверг его суровому осуждению, именно как такового сына, принесшего покаяние лишь в последний момент⁵⁸. Равно и известный нам философ В.С. Соловьев нанес немалый удар идеализации личности Пушкина указанием на то, что постигшая поэта роковая катастрофа, положившая конец его жизни, была обусловлена прежде всего его собственными поступками, не согласными с высотой и обязанностями его гения и христианского сознания, к которому он пришел под конец своей жизни:

«Жизнь его не враг отъял,
Он своею силой пал.
Жертва губительного гнева,

своею силой, или, лучше сказать, своим отказом от той нравственной силы, которая была ему доступна и пользование которою было ему всячески облегчено».

Действительно, Пушкин не всегда преодолевал в себе побуждения гнева, но, ввиду интриг его врагов и его высокого настроения перед своей кончиной, с точки зрения чисто христианского прощения кающегося, он подлежит изъятию от совсем строгого осуждения за свое

⁵⁷ См. ст. Chamberlaine'a: Richard Wagners Philosophie – в «Beilage zur Allgemeinen Zeitung» 1899, № 47.

⁵⁸ Замечания по поводу этого слова см. в ст. Пыпина: Вестн. Евр., 1887, № 10, стр. 635–641. Далее покойного архиепископа пошли теперь те люди, которые приглашали христиан не следовать за «крикунами, хотя бы и избранными руководителями народа», и не «читать убийц-самоубийц».

предсмертное деяние⁵⁹. Даже если бы мы не нашли никакого оправдания последнего, и тогда, принимая во внимание всю совокупность дурного и хорошего в его характере, и условия воспитания и среды, мы должны бы призадуматься перед произнесением решительных приговоров вроде изложенных.

По словам Мицкевича, у Пушкина был характер «*trop impressionable et parfois léger, mais toujours franc, noble et capable d'épanchement*» (слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям (*фр.*). – *Примеч. ред.*); своими недостатками Пушкин был обязан воспитанию⁶⁰, своими достоинствами – самому себе. И это вполне верно. В натуре Пушкина наряду с его самомнением и буйным пылом страстей нельзя не отметить и целого ряда весьма благородных и симпатичных моральных свойств, каковы: чисто русские прямота и искренность, отсутствие завистливости, полное участливое отношение к талантам других и готовность помогать их развитию, мужественность и стойкость в следовании эволюции своей мысли и убеждения, невзирая на то, что скажут хотя бы друзья, отсутствие стремления приобретать выгоды и дешевую популярность угодничаньем толпе и вообще стойкость натуры⁶¹.

Но главное обстоятельство, говорящее в пользу личного характера Пушкина, – это то, что после первых лет бушевания пылкой крови в его жизни постепенно все более и более крепла сила тех «духовных основ жизни», о которых любит говорить В.С. Соловьев.

Жизнь Пушкина представляет не обычный только процесс, нередко замечаемый в лучших из даровитых и наделении их кипучими силами людей, у которых постепенно остывает кровь; и изменения происходили в Пушкине не только по принципу *tempora mutantur et nos mutamur in illis* (времена меняются, и мы меняемся с ними (*лат.*). – *Примеч. ред.*).

Дело не в том только, что годы юности поэта были в значительной степени истрачены

⁵⁹ См. статьи Павлищева в «Новом времени» 1899 г. и сведения о предсмертных моментах Пушкина, сообщенные В.А. Чуковским и другими.

⁶⁰ Ср. наблюдение А.И. Тургенева в письмах кн. П.А. Вяземскому: «...вообрази себе двенадцатилетнего юношу, который шесть лет живет в виду дворца и в соседстве с гусарами, и после обвиняй Пушкина за его «Оду на свободу» и за две болезни нерусского имени!» Остафьевский архив князей Вяземских, I, СПб., 1899, стр. 280.

⁶¹ «Меня не так-то легко с ног свалить», – писал однажды Пушкин (VII, 258).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.